This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY

PG 3227
L48
v. 1

STANFORD LIBRARY
JUL 18
STACK

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

АЛЬМАНАХИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

„ШИПОВНИКЪ“

КНИГА ПЕРВАЯ.

А. СЕРАФИМОВИЧЪ. У ОБРЫВА. — А. КУПРИНЪ. БРЕДЪ.
С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКІЙ. ЛѢСНАЯ ТОПЬ. — Н. ГАРИНЪ.
КОГДА-ТО... — БОР. ЗАЙЦЕВЪ. ПОЛКОВНИКЪ РОЗОВЪ.

ГОРОДЪ: В. БРЮСОВЪ, Городъ. (стихотворенiе).
М. ДОБУЖИНСКІЙ. Городъ. Будни. Праздникъ. (рисунки).
Л. БАКСТЪ. Улица. (рисунокъ). Н. РЕРИХЪ. Городъ. (рисунокъ).

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АЛЬМАНАХЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

«ШИПОВНИКЪ»

КН. I

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
1907

КНИГА ПЕРВАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

А. СЕРАФИМОВИЧЪ. У ОБРЫВА.

А. КУПРИНЪ. БРЕДЪ.

С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКІЙ. ЛѢСНАЯ ТОПЬ.

Н. ГАРИНЪ. КОГДА-ТО...

БОР. ЗАЙЦЕВЪ. ПОЛКОВНИКЪ РОЗОВЪ

II

ГОРОДЪ

В. БРЮСОВЪ.

М. ДОБУЖИНСКІЙ.

В. БАКСТЪ.

Н. РЕРИХЪ.

III

Л. АНДРЕЕВЪ. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА.

А. СЕРАФИМОВИЧЪ.

У ОБРЫВА.

РАЗСКАЗЪ.

I

Уже посинѣло надъ далекимъ поворотомъ рѣки, надъ желтѣющими песками, надъ обрывистымъ берегомъ, надъ примолкшимъ на той сторонѣ лѣсомъ.

Тускнѣли звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости подъ спокойнымъ, глубоко синѣвшимъ, съ рѣдкими бѣлыми звѣздами, небомъ.

Баржа и лодка возлѣ нея, понемногу терявшія рѣзкость очертаній, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровымъ отблескомъ, у самой воды горѣлъ костеръ, и поплескивалъ на шипѣвшіе уголья сбѣгавшей пѣной подвѣшенный котелокъ, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосѣ прибрежнаго песку, длинныя тѣни, и задумчиво возвышался обрывъ, смутно краснѣя глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптаніе бѣгущей воды, непрерывающійся шопотъ, безпокойный и торопливый, то сонный и затихающій, то задорный и насмѣшливый, но рѣка была спокойна, и свѣтлѣющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплескъ рыбы, или крикъ ночной птицы, или шорохъ осыпающагося песку, или едва уловимый шумъ пароходнаго колеса, или почудилось,—но что-то принеслось издалека. И снова дремотное, невнятное шептаніе, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и свѣтлый, ничѣмъ ненарушимый покой рѣки подъ все густѣющей синевой надвигающейся ночи.

— „Ермакъ" никакъ идетъ.

— Гдѣ ему! . теперича небось въ „Обычныхъ Пескахъ" сидитъ...

И человѣческія слова, такія простыя и живыя, прозвучали и пропали въ этомъ непонятно-безпокойномъ шопотѣ спокойно-недвижной рѣки.

Короткая, притаившаяся у колеблющагося огня тѣнь разомъ вытянулась, побѣжала отъ костра, торопливо перегнулась черезъ обрывъ и пропала въ степномъ сумракѣ, откуда неслись крики перепеловъ и запахи скошенныхъ травъ, а надъ костромъ поднялся высокій, здоровенный съ длинными руками и ногами въ пестрядинной рубахѣ человѣкъ и, снявъ ложкой сбѣгавшую черезъ края пѣну, ссыпалъ въ бившую ключемъ воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тѣнь, скользнувъ по обрыву, вернулась изъ степи и опять притаилась у огня. Длинный человѣкъ сидѣлъ, неподвижно обнявъ колѣни, глядя на свѣтлѣющую рѣку, на пропадающій въ сумеречной дымкѣ лѣсъ, дальній берегъ.

Поодаль на пескѣ, протянувшись неподвижно и мертво, чернѣла человѣческая фигура.

Не было видно лица.

Спалъ ли онъ, или думалъ, или былъ боленъ, или уже не дышалъ, нельзя было разобрать.

Уже потонулъ въ темнѣющей синевѣ и не сталъ видимъ лѣсъ, и поворотъ рѣки, и дальніе пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже чернымъ, вороненымъ блескомъ, и звѣзды въ ней бездонно помутнѣли, яркія и безчисленныя.

И казалось, такъ и нужно, чтобъ въ эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возлѣ обрыва горѣлъ костеръ, и красный отсвѣтъ трепеталъ невѣрно, обводя багровымъ свѣтомъ костра высокую нескладную, но точно выкованную фигуру человѣка, могуче охватившаго руками колѣни, и неподвижную темную фигуру на пескѣ, и третьяго съ широкой бородой

старика, съ спокойнымъ и строгимъ лицомъ, отлитымъ изъ бронзы.

Какъ будто кто-то задумчиво безъ словъ пѣлъ, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая въ ночной синевѣ рѣка, и костеръ, и смутный обрывъ, и въ темной глубинѣ чуть зыблемыя звѣзды.

— Пришло время... жисть-то она человѣческая, какъ трава полѣзла...

Голосъ былъ ровный, спокойный, медлительный, и такъ было спокойно кругомъ, что нельзя было сказать, кому принадлежитъ голосъ.

И среди ни на секунду непрерывающагося немолчнаго дремотнаго шопота голосъ, казалось, принадлежалъ синей ночи, какъ и угрюмо стоящій обрывъ, какъ ропотъ воды, какъ костеръ съ беззвучно ползающими по песку тѣнями.

— ... какъ трава молодая на прòвесень изъ черной земли...

— Нда-а... теперича полѣзла, ничѣмъ ее не уторкаешь.

И кто-то на томъ берегу смутно и неясно отозвался, слабѣя:

... да-а-а!

Силѣвшій, обнявъ колѣни, замолчалъ. Молчалъ и тотъ, чей темно простертый силуэтъ смутно рисовался на пескѣ. Молчалъ старикъ съ бронзово-багровымъ шевелившимся лицомъ, изрѣдка лѣниво вбрасывая въ костеръ голыми руками выскакивающіе оттуда раскаленные угольки, и въ этомъ молчаніи чудилась недоконченная дума, думала сама синяя ночь.

Тонкій шемящій крикъ пронесся надъ рѣкой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающійся беспокойно-торопливый шорохъ-шопотъ бѣгущей воды. Молчалъ въ наступившей со всѣхъ сторонъ темнотѣ смутно подымающійся обрывъ, молчала степь за нимъ. Костеръ лѣниво вспыхивалъ, сонно подергивался пѣпелъ.

Тонкій крикъ повторился противъ, надъ рѣкой. Водяной игралъ, а можетъ быть, летѣла надъ самой водой невидимая птица—нельзя было сказать. Ночь тѣснилась со всѣхъ сторонъ, молчаливая и темная.

— По рѣкѣ далече слыхать... хошь у самаго Кривого Колѣна, и то будетъ слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный неясный звукъ. Ухо хотѣло поймать приближающійся шумъ пароходныхъ колесъ, но звуки ночи, тихіе, неясные, тысячу разъ слышанные и все таки особенные и странные, говорили объ отсутствіи человѣка.

Горѣлъ костеръ, у костра сидѣли двое, третій неподвижно чернѣлъ на пескѣ.

II

Длинный поднялся, снялъ котелокъ. Тѣни зашевелились, и одна опять скользнула вверхъ по обрыву и пропала въ степи.

Упрѣла.

Онъ поставилъ котелокъ и покрутилъ въ пескѣ.

Часовъ девять есть... охо-хо-хо...

И за рѣкой кто-то: „о-о-о-о...“

Скажи парню, нехай садится съ нами, вишь, [illegible]

Старикъ достали изъ кармана ложку и вытеръ [illegible] пальцемъ.

[illegible] парню хошь, поѣшь съ нами.—длинный [illegible] надъ неподвижно чернѣвшей фигурой.

[illegible] куда... постой... братцы, держи- [illegible] тотъ, вскакивая, трясясь.

[illegible] что ты, парень... говорю, поѣшь съ [illegible]

[illegible] вокругъ удивленнымъ взглядомъ, не [illegible] смутно рисующихся контуровъ, [illegible] заполненнаго немолчно шеп- [illegible] трепещущаго красноватаго [illegible] и провелъ рукой,

какъ будто снималъ съ лица паутину. Онъ точно весь обмякъ и улыбнулся безсильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты... опять попритчилось...

При свѣтѣ костра поражала исхудалость и измученность, завалившіяся щеки, черные круги, горячечно блиставшіе безпокойные, какъ будто глядящіе мимо предметовъ, глаза.

Сѣли кругомъ котелка, поджавъ на пескѣ ноги, и стали ѣсть и громко дули на кашу. И повторяя движенія, суетились по песку тѣни.

Долго и молча ѣли, и долго въ дремотно шепчущій ночной ропотъ чуждо вторгался звукъ усердно работающихъ человѣческихъ челюстей.

Первая острота голода притупилась, парень, на лицѣ котораго землисто отпечатывался призракъ смерти, вздохнулъ:

— У-ух-хъ!... маленько отошелъ...

И опять улыбнувшись безсильной и измученной улыбкой, добавилъ:

— Два дня не ѣлъ.

— Да ты откуда?

— Изъ города,—и снова усталая и теперь довѣрчивая улыбка,—изъ самаго изъ пекла вырвался, какъ и вырвался, самъ не знаю...

— Да мы это догадались, какъ ты еще шелъ по берегу,—усмѣхнулся длинный,—да не стали разспрашивать, что человѣка зря безпокоить.

— Небойсь, ничего... По степи патрули разъѣзжаютъ, хватаютъ, которые успѣли изъ города убѣжать, ну схватятъ, разговоръ короткій — пуля либо петля... мы не одного переправили... артель-то на баржахъ, да и команда на пароходѣ свой народъ... къ намъ вотъ не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была имъ пожива... Да ты въ городу-то чѣмъ былъ?

— Наборщикомъ,—и онъ повелъ плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнулъ, подулъ на ложку и, вытянувъ губы, съ шумомъ втянулъ воздухъ вмѣстѣ съ кашей.

На рѣкѣ завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но въ темнотѣ не было видно расходящихся круговъ. Старикъ ѣлъ молча.

— Все по рѣкѣ шелъ, какъ чуть чего—въ воду... Вчерашній день до самой ночи въ водѣ сидѣлъ, закопался въ грязь, а голова въ камышѣ, такъ и сидѣлъ.

Онъ отложилъ ложку и сидѣлъ, осунувшись, и мысли, далекія отъ теплой ночи, отъ костра, бродили въ головѣ, туманя глаза.

— Что было, страшно вспомнить... крови-то, крови!... народу сколько легло!...

И опять боязливо оглядѣлся и передернулъ, какъ отъ холода, плечами.

— Усталъ я... усталъ, замучился, и... и не то, что руками или ногами, душой замучился, все у меня подалось, какъ обвисло...

И онъ опять обвелъ кругомъ, гляда куда-то мимо этой темноты, мимо костра, рѣки, мимо товарищей, точно, заслоняя все, стояли призраки разрушенья, развалины, и некуда было идти.

— Главное что!. . .—вспыхивая, заговорилъ онъ,— трудовъ, сколько трудовъ убито. Нашего брата рабочаго развѣ легко поднять, да вбить въ башку... Ему долби да долби, его учи да учи, а онъ себѣ тянется, какъ кляча подъ кнутомъ, съ голоду сдыхаетъ да водку хлещетъ... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились въ кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой-ёй-ёй, сколько времени, сколько трудовъ стоило!... А сколько народу пропало по тюрьмамъ, да въ ссылкѣ, да на каторгѣ, да какого народу!... кирпичъ за кирпичемъ выводили, и вотъ трраххъ!... готово! все кончено!... шабашъ!...

И онъ отвернулся, и опять глядѣлъ, не замѣчая, мимо синѣющей ночи, мимо шепчущихъ звуковъ, мимо тихаго покоя, которымъ вѣялъ дремлющій берегъ.

— А-а-а-а....—и онъ мѣрно качался надъ костромъ, сдавливая обѣими руками голову, точно опасаясь, что она лопнетъ и разлетится вдребезги. И качалась тѣнь, уродливая, изогнувшаяся, также держась обѣими руками за голову, тоже уродливую и нелѣпо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитыя надежды и отчаяніе, о чемъ-то о своемъ немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьмѣ звѣздное небо. Нѣсколко хворостинокъ, подкинутыхъ въ костеръ, никакъ не могли загорѣться, и едва уловимый дымокъ, не колеблемый, какъ тѣнь, скользилъ вверхъ.

И этотъ покой, и тишина, погруженные въ ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокаго, еще не раскрытаго, недосказаннаго.

— Глянь-ко, паря, вишь ты, ночь, спокой, все спитъ, все отдыхаетъ,—и голосъ старика былъ глубоко-спокоенъ,—все, и звѣрь, и человѣкъ, и гадъ, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять въ ростъ... Все спокой, тишь... да-а!....

Надъ водой удалялись тонкіе тililикающіе звуки, —должно быть, летѣли на ночлегъ кулички. Стояла сама себя слушавшая тишина.

— Да-а, спокой..... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о...
... А Господь-то сказываетъ: отдохните, тваріи Божіи. И заснула вся земля, а на утресь опять кажный за свое, птица за свое, звѣрь за свое, человѣкъ за свое. Только солнушко проглянетъ, а тутъ готово, начинай снаизнова. Такъ-тось, паренекъ.

Долго стояла тишина. Рабочій, сутулясь и поднявъ голову, глядѣлъ на дымчатую дорогу на небѣ. Длинный уписывалъ кашу.

— Дѣдушка,—болѣзненно раздался надтреснутый голосъ,—да вѣдь всѣ на утро проснутся, а энти, которые въ городѣ лежатъ, вѣдь они-то ужъ не подымутся.

— А ты ѣшь, паренекъ, ѣшь,—говорилъ старикъ, вытирая ладонью усы и бороду,—да-а..... мужичекъ,

хресьянинъ вышелъ пахать. Вспахалъ. Вспахалъ, взялъ лукошко и зачалъ сѣять. Высѣялъ, заскородилъ, дождику Господь послалъ, и погнало изъ земли зеленя, погнало, словно те выпираетъ. Да-а, радуется хресьянинъ. Нашему брату что, вспахалъ, посѣялъ, собралъ и сытъ. Да-а. Колоситься зачало. И вотъ откуда ни возьмись, туча, черная, пречерная. Вдарила грозой, градомъ, все дочиста сравняла, гдѣ хлѣбъ былъ—одна чернота. Вдарилъ объ полы сердяга! Что-же, думашь, бросилъ, руки опустилъ? Нѣ-ѣтъ, ребята-то безперечь ѣсть хотятъ. Пошелъ на чугунку, на чугункѣ сталъ заработывать. И отрѣжь ему колесами ноги. Поболѣлъ, поболѣлъ и Богу душу отдалъ. Что-же, думашь, тѣмъ дѣло кончилось? Нѣ, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать, да сѣять братаны да зятья. Опять пробились зеленя, опять сталъ наливаться колосъ. И сколько ни изводили мужика, и на войну-то его гнали, и по тюрьмамъ гноили, и нищета давила, и съ голоду онъ пухъ и помиралъ, а кажную весну зеленѣли нивы, да-а.

Онъ помолчалъ.

— Милята, да неужли-жъ брюхо дороже души, до[illegible] правды хресьянской! неужли-жъ для брюха мы [illegible] стараемся, чѣмъ для души! Неужли-жъ для брю[illegible] и смерти не побоимся, и лѣземъ на рожонъ, [illegible] въ огонь. А для правды кишка слаба стала, [illegible]скаются... какъ же безъ нея, безъ правды [illegible]ить-то будемъ?.. а-а?...

[illegible] внимательный полувопросомъ, полуутвер[illegible]ался изъ-за рѣки: а-а-а!... Наборщикъ [illegible]ситъ изъ котелка.

[illegible]ѣзда покатилась,—проговорилъ длин[illegible].

[illegible] братику, сколь ни топчи траву, она все [illegible] тянется кверху. И народъ, сколь [illegible] ни тирань, а онъ, братику, пома[illegible]ся. Пущай жгуть, пущай бьютъ, [illegible], завтра деревню сожгутъ, а на

мѣстѣ того приходится громить пять городовъ, приходится жечь сто деревень—народъ распрямляется, какъ притоптанная трава. Глядимъ мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажутъ тебѣ вокругъ только вороги, и къ намъ ты подошелъ и насъ боишься. А мы смѣтили давно, что ты за птица, да я Митюхѣ говорю: не трожь его, пущай обойдется. Анъ вотъ теперь и оказалось, дѣло-то одно дѣлаемъ. Вона у насъ,—старикъ мотнулъ головой на баржу,—чего хошь, тюки, въ кажной деревнѣ и выгружаемъ, пущай народъ любопытствуетъ, пущай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!....

И за рѣкой: „хо-хо-хо-о!"...

III

— Да вы чего тутъ стоите, дядя?

— На перекатахъ, вишь, не проходятъ баржи, глубоко сидятъ, а рѣка ноньче рано обмелѣла, такъ пароходъ часть отгрузилъ и пошелъ черезъ перекаты, потомъ вернется, съ этой баржи сниметъ часть грузу и поволокетъ.

Наборщикъ лѣниво лазялъ въ котелокъ. И вдругъ мягко съ улыбкой оглядѣлся кругомъ. И впервые онъ увидѣлъ эту тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, эти тонко дрожащія въ глубинѣ звѣзды, этотъ дремотный шопотъ невидимо бѣгущей воды. Онъ глубоко вздохнулъ и проговорилъ:

— Ночка-то!...

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладѣвала.

— Теперь хоть и вздремнуть бы,—двѣ ночи глазъ не смыкалъ.

— Погодь трошки, махотка съ кислымъ молокомъ еще есть.

И длинный лѣниво поднялся, вмѣстѣ со своей тѣнью прошелъ къ лодкѣ, покопался и, держа въ ру-

[illegible] [illegible] и сѣть. Тѣнь тоже

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

Длинный по медвѣжьи, неповоротливо поднялся:

— Чего надо?.. ступай... отчаливай... неположеннаго ищешь....

Костеръ осторожно глянулъ изъ-подъ полуспущеннаго вѣка, и на минуту можно было различить надъ самымъ обрывомъ въ красноватомъ отблескѣ конскую голову и надъ ней человѣческую, и рядомъ еще конскую голову и надъ ней человѣческую.

Въ ту же секунду блеснулъ длинный огонь, и грянулъ выстрѣлъ, и, негодуя, понеслись по рѣкѣ, по лѣсу, будя ночную тишь, рокочущіе отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной рѣки съ дрожащими звѣздами, ни дремотнаго шопота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепеловъ и медвяные запахи скошенныхъ травъ. Стояло что-то тяжелое и жестокое въ своей безсмысленности.

— Казаки!..—шепталъ наборщикъ, поднявшись,— прощайте, побѣгу...

Старикъ придержалъ его за руку:

— Погодь... ничего.

— Не пужай... не изъ пужливыхъ... а вотъ только кого-нибудь зацѣпишь версты за три, за четыре позадь лѣса неповиннаго, такъ это вѣрно... пуля-то куда летитъ... сволочи!..—длинный тяжело и злобно погрозилъ кулакомъ.

Костеръ снова подернулся тепломъ, и темные силуэты надъ чернотой обрыва шевельнулись, стали дѣлаться меньше, понижаясь и прячась за край. Звѣзды снова играли, небезпокоемыя, изъ степи несся удаляющійся, замирающій топотъ, оставляя въ молчаніи и темнотѣ неосязаемый слѣдъ угрозы и предчувствія. Напрасно торопливый бѣгущій шопотъ воды старался по прежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающимъ забвеніемъ, молчаніе замершаго вдали топота, полное зловѣщей угрозы, пересиливало дремотно-шепчущій покой.

Снова сѣли.

— Поисть не дадутъ, стервы!

— Подлый народъ... земли у него сколь хошь, хоть обожрись, ну, и измываются надъ народомъ!..

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихій покой, и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, съ безпокойной чуткостью жлущая чего-то. И какъ бы оправдывая это напряженное ожиданіе, среди тьмы металлически звякнуло... Черезъ минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядѣли низомъ въ темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и сталъ доноситься влажный, осторожно измѣренный хрустъ прибрежнаго песку. И въ темнотѣ подъ обрывомъ надъ самой рѣкой зачернѣло, выдѣляясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающихъ головами лошадей и черныя фигуры всадниковъ.

Они подъѣхали вплотную къ костру, сдерживая мотающихъ головами, сторожко похрапывающихъ лошадей, сидя прямо и крѣпко въ сѣдлахъ, и концы винтовокъ поблескивали изъ-за спинъ.

— Что за люди?

— А тебѣ что?

Всѣ трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

— Шашки захотѣли отвѣдать? такъ это можно... [illegible]ловинки изъ тебя сдѣлаю... Что за люди, спра[illegible]?

Ослѣпъ, что ль, сторожа при баржѣ.

[illegible]бовъ, вяжи ихъ, дьяволовъ, да погонимъ къ [illegible]

[illegible]лой казакъ съ сѣрымъ лицомъ, выпятившими [illegible]тами, спрыгнулъ съ коня и, держа его въ [illegible]ая оружіемъ, подошелъ.

[illegible]мы этихъ сторожовъ, поворачивайся-ка... [illegible] сволочь длинная, всю дорогу нагайкой [illegible]ебь не огрызался, погань проклятая.

— Связать не долго,—спокойно заговорилъ старикъ,—и угнать можно, самое ваша занятія, но только кто кашу-то потомъ расхлебывать будетъ. Насъ-то угонятъ, а баржа до верху товаромъ набита, къ утру ее ловко обчистятъ, пароходъ-то придетъ, голо будетъ, какъ за пазухой... нда-а!.. пожалуй, смекнетъ народъ,—казачки и обчистили, для того и сторожовъ угнали, они на этотъ счетъ мастаки...

— Бреши больше, старый чертъ,—и въ голосѣ бородатаго казака послышалась неувѣренность,—погоди, Рябовъ... Покажь пачпортъ, ты, сиволдай.

— Да ты что, али только родился, мокренькій...— усмѣхнулся длинный,—пачпорта обнакновенно у хозяина, ступай къ капитану, онъ те и пачпорта дастъ.

Казакъ въ нерѣшительности натягивалъ поводья.

— А этотъ?

— И этотъ сторожъ... водоливомъ на баржѣ...

— Брешешь, сучій подхвостникъ... не видать, чтоль— изъ городу убёгъ, ага!.. его-то намъ и надо. Погляди, Рябовъ, може, которые разбѣжались. Погляди, нѣтъ ли слѣдовъ отъ костра въ энту сторону.

Молодой сунулъ въ уголья хворостинку, подержалъ, пока вспыхнулъ конецъ, и, наклонившись и освѣщая, прошелъ нѣсколько шаговъ, внимательно вглядываясь въ песокъ, по которому судорожно трепетали тѣни.

— Нѣту, оттуда слѣды, какъ разъ изъ города, онъ шелъ.

— А-а, сиволапые, отбрехаться хотѣли, люцинеровъ укрывать. Погодите, будетъ и вамъ, не увернетесь, а между протчимъ, Рябовъ, обратай-ка этого.

— Веревки-то нѣту.

— А ты чумбуромъ, чумбуромъ округъ шеи, погонимъ, какъ собаку.

Молодой взялъ свободный конецъ свѣшивающагося отъ уздечки длиннаго ремня, за который водятъ лошадь, и подошелъ къ наборщику.

[illegible] ты [illegible] поверить, что
[illegible] отпустят его [illegible] взять.
Пошелъ ты къ [illegible]!

Металлически [illegible] запоръ. Наборщикъ пе[illegible] [illegible] на него глядѣло дуло винтов[illegible], [illegible] съ лошади бородачъ.

Ежели еще шагъ, на мѣстѣ положу.

Рябовъ накинулъ на шею чумбуръ и сталъ завя[illegible] [illegible], бородачъ закинулъ винтовку за плечи. [illegible] равнодушно и устало глядѣлъ во мглу надъ [illegible]. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всѣхъ [illegible], и нечѣмъ было дышать.

Старикъ и длинный какъ-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядѣть на совершающееся.

Завязалъ? ну, садись, и айда! да гони нагайкой [illegible] [illegible].

Молодой, вдѣвъ одну ногу въ стремя, взялся за [illegible] и напружился, чтобъ разомъ вскочить въ сѣдло, [illegible] темнотѣ чернѣлъ чумбуръ отъ морды лошади [illegible] человѣка.

Рябовъ подошелъ къ молодому, и въ тотъ моментъ, [illegible] хотѣлъ занесть ногу въ сѣдло, наклонился [illegible], точно что-то сообщая по секрету, потомъ [illegible] отшатнувшись отъ коня, прильнулъ къ дѣдову [illegible] и крикнулъ перервавшимся голосомъ

[illegible] ту же самую минуту длинный подошелъ къ [illegible] [illegible] казаку, сидѣвшему на лошади, и, протя[illegible] [illegible] чѣмъ то ладонь, проговорилъ:

[illegible] потерялъ, ваше благородіе?

[illegible] перегнулся съ сѣдла, разглядывая, и вдругъ [illegible] какъ съ желѣзной силой, точно тол[illegible] [illegible] шею. Онъ мгновенно толкнулъ но[illegible] [illegible] чтобы заставить ее вынести, но другая [illegible] [illegible], съ такой же желѣзной силой [illegible] [illegible] и такъ натянула, что лошадь

закинувъ голову и присѣдая на заднія ноги, пятилась и уперлась задомъ въ обрывъ.

— О-го-го!.. ссво...о...лочь!.. Ря...бовъ... ссу...ды...

— Нни...чего... дя...дя...

— По...го...ди я... тте ша...шшкой!..

— Го...жу... ва...лись-ка...

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали другъ друга горячимъ обжигающимъ дыханіемъ, лошадь билась подъ тяжестью двухъ людей, и съ обрыва на нихъ сыпалась глина и ссохшіеся комья.

— Ого-го-го!.. Рря...бовъ...

Казакъ изо всѣхъ силъ старался выпростать руку и все искалъ головку шашки, но облапившій его дьяволъ съ нечеловѣческой силой ломалъ ему спинный хребетъ, и, несмотря на отчаянное нечеловѣческое напряженіе, бородачъ тяжело и грузно гнулся съ сѣдла. Уже поднялись тускло поблескивавшія стремена на раскарячившихся ногахъ, уже подъ брюхо бьющейся лошади лѣзетъ взмокшая отъ пота голова.

Что-то хрустнуло, и подъ вздыбившейся лошадью ухнула земля отъ тяжко свалившихся тѣлъ.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла надъ ними, дожидаясь, и въ ея тяжелой тишинѣ лишь слышалось хриплое дыханіе, да задавленные стоны, а проклятія и брань застревали въ бѣшено-стиснутыхъ зубахъ.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конецъ волочившагося по песку повода и низко кланяясь каждый разъ головой, пугливо побѣжала прочь отъ того мѣста, гдѣ тяжело ворочался черный комъ.

Дѣдъ съ освободившимся наборщикомъ туго вязали молодого, безпомощно лежавшаго на пескѣ.

— Эй, давай же чумбуръ!..—хрипѣлъ длинный, наступивъ колѣномъ на грудь задыхающагося казака.

Дѣдъ съ наборщикомъ поймали лошадь, подбѣжали къ лежавшему на пескѣ хозяину, и въ захрустѣвшія въ суставахъ руки жестко впился ремень.

— Фу-у, дьяволъ, насилу стащилъ, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы... Ну, давай же мо-

локо доѣдать, никакъ не даютъ повечерять... возжакайся тутъ съ ними, съ иродами.

IV

Они сѣли въ кружокъ, веселые, торопливо дышащіе, отирая потныя лица, и снова принялись за ужинъ.

— Ну, этотъ молодой и крякнуть не поспѣлъ, какъ дѣдушка его заразъ на песокъ.

— А этотъ здоровый, откормился, кабанъ...

— Ишь, а то за шею... ахъ ты, моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костеръ, совсѣмъ было задремавшій, снова глянулъ, и снова засуетились по песку тѣни. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли надъ ними лошади, понуривъ головы.

— Въ прошломъ году стояли тутъ на перекатѣ,— заговорилъ длинный и, отложивъ ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавивъ ноздрю пальцемъ,—такъ гроза сдѣлалась, н-но и гроза! мимо шаръ си-иній пролетѣлъ, такъ и отнесло меня духомъ сажени на двѣ, и вдарился этотъ шаръ въ дерево саженяхъ въ пятидесяти по берегу, отъ дерева лишь пенекъ остался, ей-Богу!

— Прошлое лѣто грозовое было, въ городѣ два дома спалило.

Бородатый казакъ понемногу приходилъ въ себя отъ изумленія, отъ неожиданности всего совершившагося, и, самъ себѣ не довѣряя и скашивая глаза, оглядывалъ, что могъ, въ своемъ положеніи. Да, онъ лежалъ, туго связанный чумбуромъ, надъ нимъ стояла лошадь, а тѣ преспокойно таскали кислое молоко, бѣлѣвшее у нихъ въ ложкахъ. Рябова не было видно, онъ лежалъ у него за спиной.

— Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вамъ своей не жалко, али обтрескались?

— Какъ не жалко, жалко,—усмѣхнулся длинный,— потому и связали васъ.

— Да вы что же думаете, насъ двое, что ли. Тамъ цѣлая сотня стоитъ, патрули вездѣ ѣздють... завернутъ сюда, тутъ ужъ вамъ безпремѣнно разстрѣлъ... развязывай заразъ!..

— Да за что же намъ разстрѣлъ, ежели никакихъ казаковъ у насъ не будетъ...

— А ты бреши да не забреxивайся, слышь, заразъ развязывай!.. мать вашу...

— За что же разстрѣлъ, ежели казаковъ у насъ не будетъ,—невинно продолжалъ длинный,—ты трошки потерпи, заразъ поѣдимъ, Богу помолимся, коней вашихъ разсѣдлаемъ, въ штаны вамъ и за пазуху песку насыпимъ, да и въ рѣку обоихъ.

Воцарилось гробовое молчаніе. У казака глаза сдѣлались круглыми, и даже въ темнотѣ бѣлѣли бѣлки. Онъ сталъ часто и трудно дышать, и, пересиливая себя, проговорилъ глухо:

— Не пужай, не испужаюсь... Казакъ—не иголка, все одно дознаются... лошадей не утопите, по лошадямъ и до васъ доберутся.

Длинный весело загоготалъ, и такъ же весело откликнулось ему изъ-за рѣки.

— Мели Емеля, твоя недѣля... объ насъ не тужи, станишничекъ... лошадей мы разсѣдлаемъ, сѣдла вамъ на шею для вѣрности, они чижолыя, не всплывете, а лошадей выведемъ въ степь, сымемъ уздечки, ухнемъ, только ихъ и видали, такъ и пойдутъ писать по степи. А въ степи имъ, братъ, хозяева заразъ найдутся, къ хутору прибьются, кажный съ превеликимъ удовольствіемъ приблудную лошадь возьметъ для хозяйства, а нѣтъ, такъ конокрады безперечь по степи ѣздють, обрадуются дареному коню, заразъ обрадаютъ. Такъ-тося, станишничекъ...

Замолчали. Ночь надъ казаками стояла густая, черная, полная предсмертнаго ожиданія и не ждущая пощады... И вдругъ среди неподвижной, грозно молчащей мглы, раздались хлюпающіе, переливающіеся прерывистые воющіе звуки, какъ будто вылъ молодой

[illegible], поднявъ морду. Бородачъ насупился и, скосивъ глаза, слѣдилъ, какъ носили ложки съ молокомъ. Дѣлали это, не спѣша, умирать вѣдь не имъ, и страшно было спокойствіе этихъ людей. А волчьи [illegible]ныя ноты [illegible]здирали ночную тишь, испуганныя носились надъ рѣкой и горькими, рыдающе-[illegible]ющими отголосками пропадали въ сумрачно и [illegible]подвижно раскинувшейся степи.

[illegible]-а, жидокъ на расправу, а людей неповинныхъ [illegible]защитныхъ убить али искалѣчить, это ты [illegible]жешь. Какъ с-собаку за шею привязалъ, не то, что [illegible] за руку, али за поясъ, а за шею, а-а!..

Бородачъ стиснулъ зубы и процѣдилъ:

[illegible]е вой, сволочь!..

Но волчій плачъ все носился у него за спиной [illegible] рѣкой, и надъ степью. И бородачъ съ напряжен[illegible]мъ слѣдилъ за спокойно ужинавшими людьми, [illegible]ного только мучительно, съ замирающимъ трепе[illegible] хотѣлъ, чтобъ никогда не кончилось это моло[illegible] глубже и глубже опускались ложки.

[illegible]ратцы,—заговорилъ онъ глухо,—отпустите.

[illegible]ишь, паренекъ,—заговорилъ спокойно ста[illegible]ахалъ ты убивать и калѣчить людей, ни объ [illegible] думалъ, а теперича самъ лежишь и ждешь.

[illegible]равивъ съ ложки губами и вытеревъ усы, про[illegible]

[illegible]а, придетъ время, такъ-то и народъ нежданно-[illegible] подымется, и будете вы лежать и ждать, [illegible]ываться, и душа у васъ смертно заскор[illegible]чнетъ: эхъ, кабы воротить, по иному бы

[illegible] наша такая, развѣ мы отъ себе... у ме[illegible]ство, семья, тоже скучаешь, сладко ли [illegible]ся.

[illegible]!.. ежели тебя служба заставитъ [illegible] будешь?

[illegible] потому присяга престолъ-отече[illegible], какъ проворно убѣгаетъ вре-

мя на этомъ пустынномъ, темномъ, молчаливо ожидающемъ берегу, и уже съ самаго дна берутъ опускающіяся ложки.

— Присяга!..—голосъ старика зазвучалъ желчью,— присяга... Вотъ она присяга передъ Господомъ,—и старикъ вдохновенно поднялъ руки,—передъ святыми его звѣздами, передъ яснымъ мѣсяцемъ, передъ темнымъ лѣсомъ, передъ чистой водой, передъ звѣремъ лѣснымъ, передъ птицей полевой, передъ человѣкомъ, —потому жисть она человѣческая—а не передъ попомъ волосатымъ, ему абы хабары. Вотъ она присяга истинная. Вотъ кому присягали мученики. Вотъ кому должонъ присягать всякій, у кого душа не въ мозоляхъ... А вы несчастненькіе, обидѣлъ васъ Богъ, замозолилась у васъ душа, тыкаетесь, какъ слѣпые щенята... Жисть, вотъ она кругомъ,—онъ широко повелъ рукой,—ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками, да бьете изъ ружей... ишь, пустилъ пулю, куда она полетѣла!..

Старикъ помолчалъ, глядя изъ-подъ сѣдыхъ насупленныхъ бровей за рѣку, гдѣ смутно чудился лѣсъ.

— Травка растетъ, ты ее побереги, прутъ гонитъ изъ земи, ты его обойди, не сломи... съ плугомъ ходишь, сколько заботы примешь, покеда перышко выгонитъ, да пойдетъ въ трубку, да въ колосокъ, да нальется, да-а, а ты все ходишь округъ нее, а человѣкъ, ништо онъ дешевле пшеницы, подумай-ка, живой вѣдь онъ, и вонъ звѣзды-то, звѣзды-то всѣмъ намъ одинаково свѣтятъ, а ты пріѣхалъ тиранить, да убивать, да въ тюрьму сажать... Присяга!!. нѣтъ больше присяги, какъ жисть человѣческая, самая дорогая, братику, присяга. Вотъ ты ѣхалъ, думалъ, сила—ты, анъ теперя самъ лежишь и ждешь... жисть сильнѣй шашки, сильнѣй пули, сильнѣй винтовки...

И они докончили. Вытерли ложки, спрятали, покрестились на востокъ и... подошли,

Весь сегодняшній день промелькнулъ передъ глазами казака и съ поразительной отчетливостью все стало въ томъ роковомъ порядкѣ въ какомъ привело его сюда, къ гибели, къ безсмысленной смерти. Съ тоской прислушался: тревожно метались за спиной воющія причитанія, и изъ степи не доносилось ни звука. Да и кто могъ подъѣхать? Не было спасенія, не было пощады, да и не могло быть, потому что онъ самъ ихъ не щадилъ.

Должно быть, къ Рябову уже приступили, потому что воющія причитанія торопливѣе и тревожнѣе неслись оттуда, и вдругъ смолкли.

У бородача екнуло сердце. Надъ нимъ нагнулся длинный и сталъ возиться съ ремнемъ. И ремень ослабъ и выдернулся. Казакъ быстро поднялся. Рябовъ, прыгая на одной ногѣ и звеня оружіемъ, садился въ сѣдло, наконецъ, вскочилъ, лошадь пошла карьеромъ и скрылась въ темнотѣ.

— Ого-го-го!.. ноги въ зубы взялъ,—смѣялся длинный,—вали, дядя, и ты!

Казакъ, сдерживаясь и едва справляясь съ охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошелъ къ лошади, попробовалъ подпруги, потомъ сѣлъ и тронулъ поводья.

— Прощайте, ребята!

— Богъ проститъ.

Лошадь, не спѣша, пошла рысцой, хрустя влажнымъ пескомъ, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

По прежнему сонно колебалось дремотное шептаніе струи, и изъ темной воды глядѣло безчисленными звѣздами ночное небо.

— Ну, теперя хоша и спать.

— Котелокъ надо побанить.

И длинный усердно сталъ оттирать пескомъ, нагнувшись надъ водой, внутренность котелка.

— Одначе, они тягу дали.

— Помирать никому не хочется.

— Исажары какъ высоко, поздно... а-а-ха-ха-ха!..

И по рѣкѣ кто-то, сонно и замирая, много разъ зѣвнулъ. Тишина стояла въ степи, надъ рѣкой, надъ чудившимся во тьмѣ лѣсомъ, навѣвая чувство покоя, отдыха.

— Тебя какъ звать-то?

— Алексѣй.

— А по отцу?

— Николаичъ.

— Ну, вотъ что, Миколаичъ, полѣземъ на баржу спать, тамъ у насъ и солома есть. Ништо искупаться передъ сномъ?

— Доброе дѣло.

Они подошли къ самой водѣ, чуть колебавшейся темнымъ густымъ отблескомъ масла и живой измѣнчивой линіей отдѣлявшейся отъ неподвижно темнѣвшаго берега. Стали раздѣваться, и разомъ руки застыли у поясовъ, а головы повернулись къ обрыву:

— А?

— Неужто?..—коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все такъ же напряженно были обращены къ степи: оттуда, все дѣлаясь отчетливѣе и наростая, несся приближающійся топотъ. И опять слышно было, что тамъ земля изсохшая, крѣпкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное безпокойство. Тревога, какъ невидимая черная птица, рѣяла въ нахмурившейся ночи. Только старикъ, не обращая вниманія, попрежнему копался въ лодкѣ.

— Эхъ!..—досадливо крякнулъ длинный, завязывая поясъ,—сказывалъ, не выпущать... теперь расхлебывай... ишь карьеромъ лупятъ, спѣшатъ, кабы не упустить.

— На ту бы сторону что ли переѣхать,—проговорилъ Алексѣй, и тоска зазвучала въ его голосѣ.

— Ничего, ребята, ничего,—спокойно проговорилъ старикъ, продолжая копаться.

Весь сего [illegible]
зами казака, и съ [illegible]
стало въ томъ роковомъ [illegible]
его сюда, къ гибели [illegible]
тоской прислушался [illegible]
воющія причитанія, и [illegible]
звука. Да и кто могъ [illegible]
не было пошалы, да и не [illegible]
самъ ихъ не [illegible]

Должно быть, къ Р[illegible]
что воющія причитанія [illegible]
слись оттуда, и [illegible]

У бородача [illegible]
длинный и сталъ возит[illegible]
ослабъ и выдернулся К[illegible]
бовъ, прыгая на одной н[illegible]
ся въ сѣдло, наконецъ, [illegible]
ромъ и скрылась въ тем[illegible]

— Ого-го-го!.. поги[illegible]
ный,—вали, дяди, и ты!

Казакъ, сдерживая[illegible]
тившей его радостью [illegible]
дошелъ къ лошади, [illegible]
сѣлъ и тронулъ пово[illegible]

— Прощайте, ребя[illegible]

— Богъ простит[illegible]

Лошадь, не [illegible]
нымъ пескомъ, и [illegible]
тила ее.

По прежнему [illegible]
ніе струи, и изъ темн[illegible]
звѣздами ночное [illegible]

— Ну, теперя [illegible]

— Котелокъ [illegible]

И длинный [illegible]
гнувшись над[illegible]

— Одначе, [illegible]

— Помирать [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] минуты [illegible]
[illegible] длительный [illegible]
[illegible] не отрывая[illegible]

[illegible] длинный,—зра[illegible]

[illegible] лошади. Рысью
[illegible] горяченнаго коня,

[illegible] заразъ баржу на
[illegible]итъ черезъ лѣсъ..
[illegible] командиру сотни...
[illegible] съ обрыва, насилу
[illegible] кивьемъ надо взять
[illegible]его не приходится,
[illegible] покрываю... Глядите,
[illegible]замъ придется...
[illegible]пароходъ придетъ, къ

[illegible]умаю, ворочусь, ска-

[illegible]бо тебѣ.
[illegible] придержалъ немного
[illegible] ну, положеніе такое.
[illegible] человѣкъ.
[illegible]торое время изъ сте-
[illegible]огъ, потомъ смолкло.
[illegible]е затѣняемыя, играли
[illegible] играли въ темной глу-

А. КУПРИНЪ

БРЕДЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Рота капитана Маркова ѣхала на соединеніе съ [illegible]ельнымъ отрядомъ. Усталые, раздраженные солдаты, утомленные длиннымъ передвиженіемъ въ неудобныхъ вагонахъ, были молчаливы и пасмурны. На какой-то станціи со страннымъ, не по-русски звучавшимъ названіемъ, ихъ поили водкой и пивомъ какіе-[illegible] люди въ русскихъ одеждахъ. Солдаты кричали «ура!», пѣли пѣсни и плясали съ каменнымъ выраженіемъ лицъ.

Потомъ началось дѣло. Рота не могла обременять себя плѣнными, и потому всѣхъ подозрительныхъ и даже просто безпаспортныхъ людей, захваченныхъ по дорогѣ, немедленно разстрѣливали; капитанъ Марковъ не ошибся въ своемъ психологическомъ расчетѣ: онъ зналъ, что постепенно нароставшая озлобленность солдатъ найдетъ нѣкоторое удовлетвореніе въ кровавыхъ расправахъ надъ жителями.

Вечеромъ 31 декабря рота остановилась на ночлегъ въ полуразрушенной баронской фермѣ. До города оставалось 25 верстъ, и капитанъ разсчитывалъ придти туда завтра къ полудню. Онъ былъ увѣренъ, что его ротѣ завтра придется принять участіе въ серьезномъ и продолжительномъ дѣлѣ, и потому хотѣлъ, чтобы люди хоть немного отдохнули, успокоились и подкрѣпились. Самъ же онъ занялъ себѣ подъ спальню большую, гулкую, пустую залу съ каминомъ въ готическомъ стилѣ и съ постелью, которую отобрали у мѣстнаго пастора.

Черная беззвѣздная ночь съ дождемъ и вѣтромъ незамѣтно и быстро надвинулась надъ фермой. Мар-

ковъ сидѣлъ одинъ въ огромной пустой комнатѣ передъ каминомъ, въ которомъ ярко пылали доски разломаннаго забора. Поставивъ ноги на каминную рѣшетку и разложивъ на худыхъ острыхъ колѣняхъ карту генеральнаго штаба—«зеленку»—онъ внимательно изучалъ глазами пространство между фермой и городомъ. При красномъ свѣтѣ огня его лицо съ высокимъ лбомъ, усами кольчиками и съ упрямымъ глупымъ подбородкомъ казалось еще болѣе суровымъ, чѣмъ всегда.

Вошелъ фельдфебель. Съ его клеенчатаго плаща бѣжала на полъ дождевая вода. Постоявъ нѣсколько секундъ и убѣдившись, что капитанъ не обращаетъ на него вниманія, фельдфебель осторожно кашлянулъ.

— Это ты?—Капитанъ повернулъ назадъ голову.—Что?

— Все обстоитъ благополучно, ваше высокоблагородіе. Третій взводъ въ нарядѣ. Такъ что первое отдѣленіе у церковной ограды, а второе...

— Такъ. Дальше пропускъ сообщенъ?

— Точно такъ, ваше высокоблагородіе...—Онъ помолчалъ немного, точно выжидая, но капитанъ тоже молчалъ, и солдатъ сказалъ тономъ ниже:

— Какъ прикажете, ваше высоко—іе, съ тѣми тремя? которые...

— Разстрѣлять на разсвѣтѣ,—рѣзко оборвалъ Марковъ, не давая фельдфебелю договорить...—И потомъ... —онъ, прищурившись, поглядѣлъ на солдата,—чтобы я больше такихъ вопросовъ не слышалъ! Понимаешь?

— Слушаю, ваше высоко—іе!—кряхнулъ фельдфебель... И опять они оба замолчали. Капитанъ легъ одѣтый на постель, фельдфебель стоялъ у двери въ тѣни. Но солдатъ почему-то медлилъ уходить.

— Все?—нетерпѣливо спросилъ Марковъ, не поворачивая головы.

— Такъ точно, ваше высоко—іе!—Солдатъ переминался съ ноги на ногу и вдругъ рѣшительно и настойчиво произнесъ:

— Ваше высокоблагородіе... Такъ что солдаты спрашиваютъ... Какъ прикажете съ тѣмъ... который старикъ?..

— Вонъ! закричалъ Марковъ на фельдфебеля и быстро съ гнѣвнымъ лицомъ сѣлъ на кровати. Кажется, онъ готовъ былъ его ударить.

Фельдфебель тотчасъ же ловко, въ два темпа, по строевому повернулся кругомъ и отворилъ дверь. Но на порогѣ онъ задержался на минутку и казеннымъ голосомъ сказалъ:—Такъ что, ваше высокоблагородіе, имѣю честь поздравить съ наступающимъ новымъ годомъ. И желаемъ..,

— Спасибо, братецъ,—сухо отвѣтилъ Марковъ.— Не забудь распорядиться, чтобы люди тщательнѣе осмотрѣли винтовки.

Оставшись одинъ, Марковъ опять, не раздѣваясь и не отстегивая шашки, бросился на кровать, лицомъ къ камину. Лицо его сразу измѣнилось, точно постарѣло, коротко остриженная голова ушла въ плечи, глаза потухли, полузакрылись съ усталымъ болѣзненнымъ выраженіемъ. Марковъ уже цѣлую недѣлю страдалъ мучительной болотной лихорадкой и только благодаря усиліямъ воли переламывалъ болѣзнь. Никому въ отрядѣ не было извѣстно, что по ночамъ онъ метался въ жестокихъ пароксизмахъ, то трясясь въ ознобѣ, тяжело бредя, забываясь только на мгновенія въ уродливыхъ, фантастическихъ кошмарахъ.

Капитанъ лежалъ на спинѣ, глядя, какъ перебѣгаютъ синіе огоньки въ потухающемъ каминѣ, и чувствуя, какъ къ нему медленно подкрадывается, туманя голову и разслабляя тѣло, привычный приступъ маляріи. Мысли его страннымъ образомъ были прикованы къ пойманному утромъ старику, о которомъ только что докладывалъ фельдфебель. Марковъ разсудкомъ догадывался, что фельдфебель правъ: въ старикѣ дѣйствительно было что-то необыкновенное, какое-то величественное равнодушіе къ жизни, вмѣстѣ съ кро-

тостью и глубокой печалью. Подобныхъ людей, похожихъ,—и въ очень слабой степени—на этого старика, капитанъ видѣлъ тамъ, подъ Ляояномъ и у Мукдена, среди безропотно умиравшихъ рядовыхъ солдатъ. Когда сегодня привели къ Маркову этихъ трехъ человѣкъ, и онъ объяснилъ имъ при помощи цинично-краснорѣчиваго жеста, что съ ними будетъ поступлено, какъ со шпіонами, то лица двухъ другихъ сразу поблѣднѣли и исказились смертельнымъ ужасомъ, а старикъ только усмѣхнулся съ какимъ-то страннымъ выраженіемъ усталости, равнодушія и даже... даже будто бы тихаго снисходительнаго состраданія къ самому начальнику карательной экспедиціи.

— Если онъ въ самомъ дѣлѣ мятежникъ,—размышлялъ Марковъ, закрывая воспаленные глаза и чувствуя, какъ мимо его глазъ плыветъ какая-то мягкая бездонная тьма,—то, безъ сомнѣнія, онъ занимаетъ тамъ важный постъ, и я поступилъ очень благоразумно, приказавъ его разстрѣлять. Ну, а если старикъ ни въ чемъ не виновенъ? Тѣмъ хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за нимъ двухъ человѣкъ, въ особенности въ виду завтрашняго. Наконецъ, почему же онъ долженъ избѣгнуть участи *тѣхъ* пятнадцати, которыхъ мы оставили позади? Нѣтъ, это было бы несправедливостью по отношенію къ прежнимъ.

Капитанъ медленно открылъ глаза и вдругъ вскочилъ въ смертельномъ страхѣ.

Передъ капитаномъ, на низкой скамейкѣ, сидѣлъ, понурившись, опершись ладонями о колѣна, въ спокойной и грустно-задумчивой позѣ приговоренный къ смертной казни старикъ.

Капитанъ не былъ трусомъ въ общепринятомъ смыслѣ, хотя и вѣрилъ въ сверхъестественное и носилъ на груди ладанку съ какой-то косточкой. Отступить въ страхѣ, да передъ самымъ таинственнымъ нематеріальнымъ явленіемъ, капитанъ счелъ бы такимъ

же позоромъ, какъ бѣгство передъ непріятелемъ или унизительную мольбу о пощадѣ. Выхвативъ быстрымъ привычнымъ движеніемъ револьверъ изъ кожанаго чехла, онъ взвелъ курокъ, направилъ его дуло въ голову незнакомца и закричалъ бѣшено:

— Если ты шевельнешься, чортъ тебя возьми!...

Старикъ медленно повернулъ голову. По его губамъ прошла та же самая улыбка, которая такъ врѣзалась капитану въ память съ сегодняшняго утра.

— Не тревожьтесь, капитанъ, я пришелъ къ вамъ безъ дурного намѣренія,—произнесъ старикъ.—Попробуйте хоть до утра воздержаться отъ убійства.

Голосъ у этого страннаго гостя былъ такой же загадочный, какъ и его улыбка: ровный, однотонный и какъ будто бы безъ всякаго тембра. Давнымъ-давно, еще въ раннемъ дѣтствѣ, Марковъ не рѣдко слышалъ, оставаясь одинъ въ комнатѣ, за своею спиной такіе голоса безъ цвѣта и выраженія, зовущіе его по имени. Повинуясь непонятному вліянію этой улыбки и этого голоса, офицеръ положилъ револьверъ подъ подушку и опять прилегъ, опершись головой на локоть и не сводя глазъ съ темной фигуры незнакомца. Нѣсколько минутъ въ комнатѣ стояла тяжелая жуткая тишина: только походный хронометръ Маркова торопливо отбивалъ секунды, да перегорѣвшіе уголья въ каминѣ падали внизъ со слабымъ, но звонкимъ металлическимъ хрустѣньемъ.

— Скажи мнѣ, Марковъ,—началъ, наконецъ, старикъ,—что отвѣтишь ты не судьямъ, не начальству, даже не императору, а своей совѣсти, если она у тебя спроситъ: зачѣмъ пошелъ ты на эту ужасную, несправедливую бойню?...

Марковъ насмѣшливо пожалъ плечами.

— Однако, у тебя, старикашка, довольно непринужденный тонъ для человѣка, котораго черезъ четыре часа разстрѣляютъ у дерева. Впрочемъ, поговоримъ, пожалуй. Это все-таки занимательнѣй, чѣмъ метаться безъ

сна въ лихорадкѣ... Итакъ, что я отвѣчу своей совѣсти? Я отвѣчу ей, во первыхъ, что я солдатъ, и мое дѣло повиноваться безъ всякихъ размышленій. Во вторыхъ, я—природный русскій, и пусть всему міру станетъ извѣстнымъ, что тотъ, кто осмѣлится возстать противъ могущества великой державы, будетъ раздавленъ подъ ея пятою, какъ червь, и даже самая могила его сравняется съ землей....

— О, Марковъ, Марковъ, сколько дикой и кровожадной гордости въ твоихъ словахъ,—возразилъ старикъ.—И сколко неправды! Ты смотришь на предметъ, приблизивъ его къ самымъ глазамъ, и видишь однѣ лишь мелкія его подробности, но отойди отъ него дальше, и онъ представится тебѣ въ своемъ настоящемъ видѣ. Неужели ты думаешь, что твоя великая родина—безсмертна? Но развѣ не то же самое говорили и думали когда-то персы, и македоняне, и гордый Римъ, охватившій весь міръ своими желѣзными когтями, и дикія полчища гунновъ, нахлынувшихъ на Европу, и могущественная Испанія, владѣвшая тремя частями свѣта? Спроси у исторіи, куда дѣвалась ихъ необъятная власть? А я тебѣ скажу, что и до нихъ, за тысячи вѣковъ, были великія государства, болѣе сильныя, гордыя и культурныя, чѣмъ твое отечество. Но жизнь, которая сильнѣе народовъ и древнѣе памятниковъ, смела ихъ со своего таинственнаго пути, не оставивъ отъ нихъ ни слѣда, ни воспоминанія.

—Это пустяки,—возразилъ слабѣющимъ языкомъ капитанъ, опускаясь на спину.—Исторія идетъ своимъ теченіемъ, и не намъ поправлять ее или указывать ей дорогу.

Старикъ беззвучно разсмѣялся.

— Не уподобляйся той африканской птицѣ, которая прячетъ голову въ песокъ, когда ее преслѣдуютъ охотники... Вѣрь мнѣ, пройдетъ сто лѣтъ, и дѣти твоихъ дѣтей будутъ стыдиться своего предка Александра Васильевича Маркова, палача и убійцы.

— Сильно сказано, старина! Да, и я слыхалъ объ этихъ бредняхъ восторженныхъ мечтателей, которые собираются передѣлать мечи на плуги... Ха-ха-ха!.. Воображаю себѣ это царство золотушныхъ неврастениковъ и рахитическихъ идіотовъ. Нѣтъ! только война выковываетъ атлетическія тѣла и желѣзные характеры. Впрочемъ... Марковъ крѣпко потеръ виски, силясь что-то припомнить... впрочемъ, это все не важно... О чемъ я хотѣлъ тебя спросить?.. Ахъ, да! Почему-то мнѣ кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты здѣшній?

— Нѣтъ,—покачалъ головой старикъ.

— Но все-таки, ты родился здѣсь?

— Нѣтъ.

— Но все-таки, ты—европеецъ? французъ? еврей? русскій? нѣмецъ?

— Нѣтъ, нѣтъ...

Марковъ въ раздраженіи ударилъ кулакомъ о бортъ кровати.

—Да кто же ты, наконецъ? И почему, чортъ возьми, мнѣ такъ страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь съ тобой?

Старикъ еще больше понурился и долго сидѣлъ, не говоря ни слова. Наконецъ, онъ заговорилъ, точно въ раздумьѣ:

— Да, мы съ тобой встрѣчались, Марковъ, но ты никогда не видалъ меня. Вѣроятно, ты не помнишь или забылъ, какъ во время чумы твой дядя повѣсилъ въ одно утро пятьдесятъ девять человѣкъ? Въ этотъ день я былъ въ двухъ шагахъ отъ него, но онъ не видѣлъ меня...

— Да... правда... пятьдесятъ девять...—прошепталъ Марковъ, чувствуя, какъ имъ овладѣваетъ нестерпимый жаръ.—Но это... были... мятежники...

— Я былъ очевидцемъ жестокихъ подвиговъ твоего отца подъ Севастополемъ и твоего дѣда подъ Очаковымъ,—продолжалъ своимъ беззвучнымъ голосомъ старикъ.—На моихъ глазахъ пролилось столько

крови, что ею можно было бы затопить весь земной шаръ. Я былъ съ Наполеономъ на поляхъ Аустерлица, Фридланда, Іены и Бородино. Я видѣлъ чернь, которая рукоплескала Сансону, когда онъ показывалъ съ подмостковъ гильотины окровавленную голову Людовика. При мнѣ въ ночь св. Варфоломея правовѣрные католики съ молитвой на устахъ избивали жёнъ и дѣтей гугенотовъ. Въ толпѣ бѣснующихся фанатиковъ я созерцалъ, какъ святые отцы инквизиторы жгли на кострахъ еретиковъ, какъ во славу Божію сдирали они съ нихъ кожу и какъ заливали имъ ротъ расплавленнымъ свинцомъ. Я шелъ вслѣдъ за полчищами Атиллы, Чингисхана и Солимана Великолѣпнаго которые означали свой путь горами, сложенными изъ человѣческихъ череповъ. Вмѣстѣ съ буйной римской толпой я присутствовалъ въ циркѣ при томъ, какъ травили псами зашитыхъ въ звѣриныя шкуры христіанъ, и какъ въ мраморныхъ бассейнахъ кормили муренъ тѣлами плѣнныхъ рабовъ... Я видѣлъ безумныя кровавыя оргіи Нерона и слышалъ плачъ іудеевъ у разрушенныхъ стѣнъ Іерусалима...

— Ты—кошмаръ... уйди... ты—бредъ моего больного воображенія. Отойди отъ меня,—съ трудомъ прошепталъ Марковъ запекшимися губами.

Старикъ поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура точно выросла въ одно мгновеніе, такъ что волосы его головы касались потолка. И онъ опять заговорилъ медленно, однотонно и грозно.

— Я видѣлъ, какъ впервые пролилась кровь человѣка. Были на землѣ два брата. Одинъ ласковый, нѣжный, трудолюбивый и сострадательный. Другой, старшій—былъ гордъ, жестокъ и завистливъ. Однажды, они оба приносили, по обычаю отцовъ, жертву своему Богу: младшій—плоды земные, а старшій—мясо изловленныхъ имъ звѣрей. Но старшій питалъ въ сердцѣ злобу къ своему брату, и дымъ отъ его жертвенника стлался по землѣ, между тѣмъ какъ дымъ отъ жертвенника младшаго прямымъ столбомъ под-

нимался къ небу. Тогда переполнилась душа старшаго давнишней завистью и злобой. И произошло на землѣ первое убійство...

— Ахъ, отойди, оставь меня... ради Бога!..—шепталъ Марковъ, метаясь на сбившейся простынѣ. Но старикъ продолжалъ свою рѣчь:

— Да, я видѣлъ, какъ его глаза расширились отъ ужаса смерти, и какъ его скорченные пальцы судорожно царапали мокрый отъ крови песокъ. И когда онъ, вздрогнувъ въ послѣдній разъ, вытянулся на землѣ, холодный, неподвижный и блѣдный, то нестерпимый страхъ овладѣлъ убійцей. Онъ бѣжалъ, пряча лицо свое, въ лѣсную чащу и лежалъ тамъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, до самаго вечера, до тѣхъ поръ, пока не услышалъ голосъ разгнѣваннаго Бога:

— Каинъ, гдѣ братъ твой Авель?

— Уйди, не мучай меня!—съ трудомъ шевелилъ губами Марковъ.

— Объятый трепетомъ, я отвѣчалъ Господу:— „Развѣ я сторожъ моему брату?" Тогда проклялъ меня Господь вѣчнымъ проклятіемъ: „Оставайся въ живыхъ до тѣхъ поръ, пока стоитъ созданный Мною міръ. Броди бездомнымъ скитальцемъ во всѣхъ вѣкахъ, народахъ и странахъ, и пусть твои глаза ничего не видятъ, кромѣ пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не слышатъ, кромѣ предсмертныхъ стоновъ, въ которыхъ ты всегда будешь узнавать послѣдній стонъ твоего брата".

Старикъ замолчалъ на минуту, и когда онъ заговорилъ, то каждое его слово падало на Маркова съ тяжелой болью:

— О, Господи, справедливъ и неумолимъ Твой судъ! Уже многія столѣтія и десятки столѣтій странствую я по землѣ, напрасно ожидая смерти. Высшая, безпощадная сила влечетъ меня туда, гдѣ умираютъ на поляхъ сраженій окровавленные, изуродованные люди, гдѣ плачутъ матери, произнося проклятія мнѣ, первому братоубійцѣ... И нѣтъ предѣла моимъ страданіямъ,

потому что каждый разъ, когда я вижу истекающаго кровью человѣка, я снова вижу моего брата, распростертаго на землѣ и хватающаго помертвѣлыми пальцами песокъ... И тщетно хочу я крикнуть людямъ: „Проснитесь! проснитесь! проснитесь!“...

— Проснитесь, ваше высокоблагородіе, проснитесь, —твердилъ надъ ухомъ Маркова настойчивый голосъ фельдфебеля.—Телеграмма...

Капитанъ быстро поднялся на ноги, мгновенно овладѣвъ, по привычкѣ, своей волей. Уголья въ каминѣ давно потухли, а въ окно столовой уже глядѣлъ блѣдный свѣтъ занимающагося дня.

— А какъ же... тѣ?...—спросилъ Марковъ съ дрожью въ голосѣ.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.—Только что...

— А старикъ? старикъ?

— Тоже.

Капитанъ, точно сразу обезсилѣвъ, опустился на кровать. Фельдфебель стоялъ около него на вытяжку, ожидая приказаній.

— Вотъ что, братецъ. Ты примешь вмѣсто меня команду,—заговорилъ Марковъ слабымъ голосомъ.—Я сегодня подаю рапортъ, потому что я... что меня... совершенно измучила эта проклятая лихорадка... И, можетъ быть,—онъ попробовалъ усмѣхнуться, но улыбка у него вышла кривая,—можетъ быть, мнѣ придется скоро и совсѣмъ уйти на покой.

Ничему не удивлявшійся фельдфебель, приложивъ руку къ козырьку, отвѣтилъ спокойно:

— Слушаю, ваше высокоблагородіе.

С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКІЙ.

ЛѢСНАЯ ТОПЬ.

ПОВѢСТЬ

I

Когда зашло солнце, то вода въ рѣкѣ стала черной, какъ аспидная доска, камыши сдѣлались жесткими, сѣрыми и большими, и ближе пододвинулъ лѣсъ свои сучья, похожіе на лохматыя лапы.

Запахло прѣлью съ близкой топи, протяжно и жалобно пискнуло въ лѣсу и потомъ долго стояло въ ушахъ острое, какъ булавка.

А подъ ногами и около, въ сухихъ листьяхъ, зашуршало, зашевелилось и потянулось дальше, вдоль берега, что-то невидное и пугливое.

Потомъ какъ-то незамѣтно стало темно и узко, какъ на днѣ колодца.

Маленькіе ребятишки, Филька и Антонина, братъ и сестра, ловили раковъ.

Ловилъ, собственно, Филька, какъ старшій. Онъ забрасывалъ колпачки на длинныхъ бичевкахъ и вытягивалъ ихъ быстро-быстро, проводя между камышами. Антонина, серьезная, худенькая, ходила за нимъ съ кошелкой и выдирала раковъ изъ сѣтокъ, какъ колючки изъ платья, неловко натыкалась пальцами на колючія клешни и вскрикивала.

— Чего орешь! Нѣжная,—ругалъ ее, какъ взрослый, Филька. Ему было десять лѣтъ,—ей шелъ девятый.

Къ вечеру раки стали ловиться лучше, точно въ черной водѣ имъ было привольнѣе и веселѣе, и они ползали по таинственному дну, сами таинственные и страшные.

И временами ребятамъ казалось, что они видятъ ихъ на днѣ, медлительныхъ и важныхъ, видятъ, какъ

они ползутъ и облѣпляютъ въ колпачкахъ наживу, жадные, какъ стая собакъ.

И не хотѣлось уходить, и было жутко однимъ.

На большую корягу, торчавшую изъ воды справа, ближе къ серединѣ рѣки, сѣлъ зимородокъ и долго сидѣлъ неподвижно и задумчиво. Потомъ вдругъ пугливо свиснулъ и замелькалъ надъ водой.

Ударила на томъ берегу большая рыба, рѣзко, точно пастушьимъ кнутомъ, и покатились маслянистые круги на этотъ берегъ.

— Сомъ!—тихо сказала Антонина.

— Ишь не сомъ, а вовсе щука... Тебѣ все сомъ! Какая сомовая!—отозвался Филька, тоже тихо, и тутъ же громко кашлянулъ и сплюнулъ на бокъ, какъ большой.

Лѣсъ на томъ берегу сталъ сплошной и густой и [illegible] отъ воды сразу, а вверху вырвались изъ него [illegible] угольно-черные косяки и молчали, въѣвшись въ [illegible].

[illegible] мыши. Были онѣ совсѣмъ какъ [illegible], только [illegible] и зеленыя на [illegible] мо[illegible], [illegible] и [illegible] гдѣ [illegible].

[illegible] — спросила Антонина.

[illegible] — оглянулся Филька.

[illegible].

[illegible] нужнымъ проворчать, [illegible].

[illegible]. [illegible], скажи пожалуйста, не [illegible]. Что къ ты имъ [illegible].

[illegible] сразу четыре рака, [illegible], съ молодой скор[illegible].

[illegible] Филька.—Те[illegible] [illegible] они [illegible].

Что-то тихо дышало на нихъ сзади изъ-за толстыхъ мшистыхъ дубовъ, дышало ядовитой сыростью и густымъ запахомъ смерти отъ гніющихъ листьевъ.

Надъ рѣкой протянулись мосты изъ тѣней, и по нимъ на этотъ берегъ шло что-то оттуда, издали, изъ того лѣса, казавшагося еще болѣе старымъ и огромнымъ, чѣмъ этотъ, и приходя сюда, шушукалось за ихъ спинами.

Камыши вблизи стояли сухіе и колючіе, и непріятно было, какъ наискось, всѣ острыми углами къ водѣ, торчали ихъ поджатые листья, точно лошадиныя уши.

— Бу-у ... бу-у...—завела гдѣ-то недалеко выпь.

— Что это?—спросила Антонина.

— Бучило—отвѣтилъ Филька.

— Пойдемъ домой,—несмѣло запросила Антонина.

— Ладно... Самый ловъ начался...поспѣешь,—отвѣтилъ Филька.

Онъ снялъ съ головы картузъ, почесался и надвинулъ его на глаза. Вынулъ колпачокъ,—опять четыре рака и всѣ большіе, но когда забрасывалъ его снова въ воду, и онъ щелкнулъ по водѣ, захлебнувшись, показалось, что это громко, и что утонулъ не колпачокъ съ желѣзнымъ прутомъ, а кто-то живой.

Какіе-то всхлипывающіе звуки, влажные и робкіе, приплыли издалека по водѣ, точно кто-то ѣхалъ тамъ на лодкѣ, а молодая осинка въ сторонѣ, узенькая и черная, стала совсѣмъ какъ человѣкъ, очень высокій и очень прямой: подошелъ къ берегу и смотритъ на воду.

— Вонъ, глянь-ка!—шепнула Антонина и показала на нее робко согнутымъ пальцемъ.

— Ветла,—сказалъ Филька тихо и тутъ же громко добавилъ:—ветла, и болѣ ничего.

Все измѣнялось кругомъ, измѣнялось на глазахъ и незамѣтно, точно колдовство совершалось. Ходило кругомъ лѣсное и колдовало и развѣшивало занавѣски изъ рѣчного тумана надъ тѣмъ, что было въ дали, и

перетаскивало эту даль сюда, какъ кошка котятъ, отчего здѣсь вблизи становилось густо, черно и душно.

Все шелестѣло и возилось что-то въ лѣсу, точно огромныя стаи галокъ или другихъ, такихъ же крикливыхъ черныхъ птицъ, садились тамъ на ночлегъ на вѣткахъ и никакъ не могли усѣсться.

Въ кошелкѣ шептались раки—шу-шу-шу-шу... Ихъ было уже много. Филька досчиталъ до сотни, а потомъ пересталъ считать. То, что они шептались тамъ на днѣ, было зловѣщимъ отъ темноты, какъ колючая угроза.

И грозились камыши, поворачивая пухлыя головы, и черная коряга, на которой сидѣлъ зимородокъ, была насупленная и тоже грозилась.

Недалеко отъ нея плеснула рыба, и въ сіяньи круговъ показалось, что коряга плыла, раскачавшись, рогатая, мокрая.

Прежде, когда было видно, хотѣлось ѣсть, теперь было только страшно. Проползало что-то лѣсное мимо, глядѣло сквозь глаза въ душу, и начинало холодать подъ сердцемъ; думалось о тепломъ сѣноватѣ, яркомъ подсвѣчникѣ въ церкви передъ большой красной иконой, о широкой татькиной бородѣ.

Или представлялся скрипучій возъ, въ него можно было лечь и ѣхать и закрыть глаза, чтобы не видѣть ни рѣки, ни лѣса. Поднималась сырость откуда-то со дна рѣки и изъ трещинъ земли, сырость душная и плотная, заползавшая прямо въ горло, какъ печная сажа.

[illegible] что-то выползло изъ [illegible] кустовъ, [illegible] большими [illegible] надъ головой [illegible] осторожно [illegible]

[illegible] Филька посмотрѣлъ [illegible] и [illegible]

[illegible] Ой, и жутко.

Около самаго берега въ водѣ сломанныя камышинки отчеканились хитрымъ переплетомъ, точно кто-то сплелъ изъ нихъ сѣтку и придавилъ воду, но вода смотрѣла сквозь ячейки сѣтки прищуренными глазами и мигала ими, молчаливо, но было понятно.

И страшно было.

Страхъ ходилъ около и ткалъ паутину, загребистый, какъ паукъ.

Казалось, что на босыхъ ногахъ что-то налипаетъ клейкое, чтобы приворожить къ землѣ, и ноги замѣтно нѣмѣли все выше—выше.

Налетѣла дикая утка, плеснула крыльями возлѣ самыхъ камышей и—фрр—испуганно ударила въ воздухъ грудью и пропала въ темнотѣ. Темнота разступилась было и вновь сомкнулась.

Заквакала вдругъ лягушка раскатисто и звучно на цѣлый лѣсъ, точно лошадь заржала, потомъ какъ-то сразу оборвалась, и опять стало тихо.

Луна еще не всходила, но звѣзды уже прихлынули къ землѣ и заткали небо частой сѣткой любопытныхъ глазъ, отчего внизу стало еще душнѣе, точно колодецъ прикрыли крышкой съ узкими дырочками для свѣта; и сразу захотѣлось на свѣтъ.

— Пойдемъ домой,—тихо потянула Фильку за рукавъ Антонина.

Изъ-подъ платка на Фильку глядѣло странное, незнакомое теперь въ полутьмѣ маленькое лицо Антонины, и Антонина не узнала Филькина лица, только картузъ былъ Филькинъ, выгнутый, какъ кошачья спина, на затылкѣ.

Филька оглянулся. Лѣсъ кругомъ былъ близкій и темный, какъ высокія стѣны, и все что-то дрожало въ немъ, шевелилось, укладывалось и опять вставало. Гдѣ-то треснула сухая вѣтка. Стало холодно. Славило глотку.

— Сейчасъ пойдемъ,—сказалъ онъ чуть слышно.

Дико заблеялъ вдругъ кто-то на дубу надъ головой... Ястребъ? Совы?

Что-то острое рыжущей змѣйкой прошло вдоль спины, точно чей-то взглядъ. Антонина ухватилась за Филькину рубаху и не выпускала ее изъ рукъ. Филька нагнулся какъ волчій выглядъ кустичекъ и нагнулась Антонина, и обѣ увидѣли вдругъ, вздрогнувъ и застывъ, какъ зеленько, въ трехъ шагахъ отъ нихъ, за камышами поднялась изъ воды зеленая тинистая человѣчья голова, старая, яркая, какъ снопъ зеленыхъ молній, фыркнула и поплыла къ нимъ; потомъ рука взмахнула, тонкая, съ длинными пальцами...

Вскрикнули и побѣжали обѣ... И это не они бѣжали такъ по извилистой лѣсной тропинкѣ, спотыкаясь на корни; они забыли, что это они, что они бѣгутъ, что впереди село; бѣжалъ, разливаясь, безликій страхъ, а за нимъ гнался, хохотала тайна, и кричалъ лѣсъ, и падало, какъ гремучіе желѣзные листы, небо, и дыбилась и трескалась земля, и два вихря, одинъ ледяной, другой изъ огненныхъ искръ, обвивались около и дули въ щеки, а въ глазахъ все стояла тинистая зеленая человѣчья голова, фыркающая, плывучая, и тянулись тонкія руки. Руки были впереди и съ боковъ, жесткія и липкія, обхватывали, отпускали, хватали вновь; это лѣсъ кидался на нихъ со всѣхъ сторонъ и загораживалъ дорогу.

—„Го-го-го-го!"—кричало снизу изъ оврага...—„Го-го-го-го!"—отзывалось вверху въ темнотѣ. Аукало зеленое. Качалось, плясало и падало, прямо передъ глазами, быстрое, яркое, какъ звѣзды...

Рванула за платье сзади, схватило за ноги... Охрипло горло отъ крика. И все голова, тинистая, страшная голова продиралась сквозь камыши, фыркала и плыла ближе-ближе, могла схватить. И дышало такъ жутко искрами и льдомъ, ядовитымъ туманомъ и смертью отъ прѣлыхъ листьевъ.

Они лежали въ избѣ дрожащіе, безъязыкіе...

Кусали что-то губы, точно съ мороза, и плакали

Рыжій бородатый Кирикъ огромными руками держалъ передъ ними маленькій ночникъ, отъ котораго ползли сонные, жмурые красноватые лучи, а суетливая Меланья, его жена, ихъ мать, обняла дрожащую голову Антонины и причитала:

— Баунька, баунька! Кто тебя испужалъ, маленькую? Кто испужалъ, лиходѣй?... Что молчишь, сидишь, горе мое? Скажи словечко!

Кирикъ бормоталъ сокрушенно:—«Вотъ грѣхъ! Вотъ грѣхъ тяжкій!» Слова вязли въ его волосатыхъ губахъ,глухо звучали, какъ черепки. Изба была большая, рубленая, и бревна въ стѣнахъ были тоже лѣсъ. На глазахъ Антонины бревна качались, становились торчкомъ, полукругомъ, одни ближе, другіе дальше, дальше,—вотъ и сучья тянулись, какъ лапы, и гоготало зеленое, и росла изъ дальняго угла, гдѣ стояло ведро съ водой, лохматая страшная голова, яркая на аспидѣ воды, И, пугаясь снова, Антонина вскрикивала:— „Ой, мамка!", и, вся посинѣвшая отъ плача, хваталась за материну плахту. Филька сидѣлъ, положивъ голову на столъ, и дергался всѣмъ тѣломъ, какъ подстрѣленный, но съ каждымъ разомъ все слабѣе, рѣже и тише.

Онъ начиналъ понимать, что онъ дома, что лѣсного нѣтъ, что оно тамъ, на берегу, гдѣ остались колпачки и раки. И въ то же время шумными порывами въ голову его влеталъ лѣсъ и кружился тамъ, влажно ревя вѣтвями.

Вставала жуткая голова, четко отдѣляясь отъ камышей. Тогда Филька закрывалъ глаза, и изъ нихъ выдавливались и ползли по рукамъ слезы.

Древняя бабка Марья сползла съ полатей. Сухая она была, скрюченная, и вся тряслась, испуганная и разбитая долгой жизнью Морщины шеи вливались въ морщины груди, коричневыя и прочныя, похожія аа дубленую кожу. Вся лѣсная была она, какъ мшистая дремучая липа, и пахло отъ нея корнями подземныхъ глубинъ.

Кто испугалъ, она знала, и знала, что сдѣлать. Она сновала по избѣ, дѣловитая, ворчливая, нашла восковую свѣчку, растопила на лучинѣ, вылила въ чашку съ холодной водой.

Прихлынули смотрѣть, что вышло.

Воскъ застылъ неровными круглыми бугорками, точно кустилась опушка, а въ серединѣ вытянулась угловатая капля. Тѣнь отъ нея на стѣнѣ вышла загадочной и живою.

— Ведьмѣдь,—рѣшилъ простодушный Кирикъ.

— Ведьмѣдь гдѣ же... больше на волка сходственно,—поправила Меланья. Она знала, хитрая, что про медвѣдей здѣсь давно не было слышно, а волки водились. Голова бабки тряслась, и крючило руки, но старые глаза были маленькіе и лучистые, и довольные, точно нашли бѣлый грибъ, далеко запрятанный подъ желтыми листьями.

— Вотъ они рожки, вишь рожки, а вотъ борода козлиная... Стало быть, весь онъ, какъ есть, и вышелъ, вотъ святое дѣло. Вишь, какъ явственно вышелъ...

И добавила пугливымъ шопотомъ:

Шишига лѣсная!

Долго прыскали ребятъ крещенской водой, бормотали что-то заговорное бабка, носилъ обоихъ Кирикъ на огромныхъ рукахъ, и подсовывали имъ молока съ черствымъ хлѣбомъ Меланья.

Успокоились и заснули поздно.

Ночь была тихая и темная, только гдѣ-то далеко за лѣсами залаяла заливистымъ дерешивчатымъ голосомъ вскочившая собака.

II

Филатъ вернулся на третій день и даже [illegible] съ чужой лошадью изъ села—село называлось Малоновое [illegible], на [illegible] рѣки.

[illegible] дѣлъ [illegible] и смѣхъ былъ [illegible] [illegible], и [illegible] у стариковъ послѣ [illegible] [illegible] на [illegible] тен-

лые отъ вина, и курятъ трубки, утаптывая золу корявыми пальцами.

Звенѣли ребячьи голоса, и эхо бросало ихъ далеко въ чащу черемухъ и орѣшника.

Веселые были камыши на рѣкѣ, и веселая была рѣка въ рамкѣ отраженій, но ни колпачковъ, ни кошелки съ раками на томъ мѣстѣ, гдѣ ихъ бросилъ Филька, не было.

Это испугало ребятъ, и они не купались, хотя было жарко, и совсѣмъ ушли отъ рѣки въ лѣсъ, а въ лѣсу держались кучкой, рвали красную костенику, слушали, какъ служили обѣдню дубы, и пришли домой еще засвѣтло и не тропинками черезъ топь, гдѣ ближе, а по наѣзженой широкой дорогѣ.

Антонина осталась порченой.

Она росла быстро, какъ ростутъ здоровыя дѣти, но тайна все время шла съ нею рядомъ и не давала сомкнуть глазъ. И росла такъ же, какъ она, жадно ловя вздохи лѣса, запахъ солнца и сырость рѣчныхъ тумановъ. Тайна всходила раньше зеленей на свѣжевспаханныхъ поляхъ, когда глубокій черноземъ лоснился и дымился, богатый силой; тайна вплеталась въ душную стѣну коноплянниковъ, опоясавшихъ село; садилась на толстые деревянные кресты кладбища; глядѣла изъ узкихъ черныхъ колодцевъ.

Антонина дичилась новыхъ людей; не носила новыхъ платьевъ; любила слушать, что говорятъ между собой старухи, и молиться въ церкви. Товарки звали ее дурочкой и думали, что она пойдетъ въ монастырь. Такъ думалъ и добродушный здоровякъ Кирикъ, и Меланья, и сама Антонина.

Но однажды, на Троицу, когда церковь была вся зеленая отъ березокъ, когда кругомъ было такъ много краснаго бабьяго кумачу, и цвѣтовъ въ волосахъ, и новыхъ армяковъ, и сапогъ, густо смазанныхъ дегтемъ, и кадильнаго дыму, Антонинѣ стало вдругъ душно, какъ тогда въ лѣсу. Березки, обвивавшія иконостасъ, потемнѣли и стали огромными, и, какъ вѣ-

[illegible] стыли дубы [illegible] на нее съ [illegible] [illegible] [illegible]

Бабка Марья давно умерла, та, что знала лѣсныя тайны, и не у кого было спросить: „это зачѣмъ?“, а молодая Марья не любила Антонины.

— Вотъ недотыкомка-дѣвка, вотъ дѣвка-шалашъ..— говорила Филькѣ.—Ходитъ—слоны слоняетъ, а то сядетъ, глядитъ спущими глазами, какъ куля... Думаетъ!... И чего думаетъ, и чего думаетъ!... Просто, право слово, правда истинная...

Качала головой и добавляла заговорщицкимъ шопотомъ:

— Боязно мнѣ отъ нее: ну, какъ зарѣжетъ ночью?

Лицо у нея было, какъ луна, безбровое и круглое.

Филька смѣялся.

Антонина любила околицу, и тихія межи въ полѣ, и шелестъ облаковъ, выползающихъ на широкое небо изъ-за лѣсныхъ верхушекъ.

И любила смотрѣть въ небо, такъ просто въ самую синь, запрокинувъ назадъ голову.

Тогда небо казалось живымъ: кто-то плавалъ въ немъ темными и свѣтлыми звѣздочками, легкими, какъ снѣжинки, много, часто, какъ густая сѣтка, надъ ближними дальнія, надъ дальними еще и еще, и такъ все небо двигалось и колыхалось.

Антонина не знала, что это, и не знала, у кого спросить, и боялась спросить, чтобы не смѣялись, но сама думала, что это ангелы.

А въ то время еще такъ пахло ромашкой, огуречной травой и чаберомъ, точно земля молилась.

III

Выдали замужъ Антонину.

Взялъ ее милюковскій же парень, Максимъ, сынъ сотскаго Дениса Кызи.

Вѣнчались въ сентябрѣ. Когда шли къ вѣнцу, падалъ дождь, размокли бѣлые дешевые цвѣточки въ волосахъ, и незамѣтно плакала Антонина. Сзади хихикали дѣвки; впереди кружились ребятишки, бѣлоголовые и голосистые, оборачивались назадъ, толкались,

[illegible] пили и кричали — „Гуляй-ся, порченая изнечтыся плесть“. Выходили [illegible] почему-то. Щеки [illegible] были темны, грустны и гулки. О. Романъ [illegible] за [illegible] и ругалъ Кирика за то, что пьетъ [illegible] деньги. У Максима было желтое скуластое лицо, [illegible] волосы въ кружокъ, плоскій подбородокъ. Двигался онъ [illegible] плѣнъ исподлобья и [illegible] руками [illegible] красный кушакъ на новой [illegible].

Когда пили въ избѣ Дениса, Антонинѣ казалось, что это ее продали и пропили.

Кирикъ съ Денисомъ [illegible] обнявшись были красны. Утопали другъ другъ [illegible] и кричали что-то, не слушая одинъ другого. Плясали парни, дружки Максима, такъ, что отдавалось въ головѣ, какъ подъ большимъ колоколомъ во время звона; пѣли бабы; кто-то [illegible] въ такъ пѣсенъ [illegible] съ улицы стучали въ окна; просили водки и грозили выломать двери.

Пѣтики мои алые!..—вспомнила что-то Антонина и потомъ все забыла.

Бываетъ это съ ней: въ голову вступаетъ; это [illegible] конфузливо объясняла Мелинья.

Ее отнесли на кровать, а ночью подъ утро пришелъ къ ней Максимъ, пьяный и потный, и до бѣлаго [illegible] на нее перегаромъ.

Что [illegible] опять шелъ дождь, слезлись маленькіе [illegible] и давилъ потолокъ...

Опять была полная изба народу, и пили водку...

Въ [illegible] Максима взяли въ солдаты, а Антонина [illegible] въ бабье дѣло и повела хозяйство. [illegible] въ двѣ прялки со свекровью. Какъ нитка, [illegible] мысли и свивались въ клубокъ, от[illegible] не было хода.

Мг[illegible] были—сугробы за окнами, жуть и хо[illegible], приставанья Дениса въ темной избѣ, [illegible] ребенокъ подъ сердцемъ. Хотѣлось пред[illegible] и дорога выходила зимняя, холодная

и бѣлая, и уходила съ обѣихъ сторонъ въ почернѣвшій отъ холода лѣсъ. А сжавшійся притихшій лѣсъ казался еще болѣе страшнымъ, чѣмъ раскидистый и зеленый.

Лицо у свекрови было до времени изжитое, маленькое и сухое, какъ на старыхъ иконахъ.

Кашляла въ два пріема по бабьи,—кахъ-кахъ,—никогда не смѣялась и говорила тихо скрипучими словами, точно пилила осину.

Семь ребячьихъ могилъ было у нея на милюковскомъ кладбищѣ.

Антонина глядѣла на ея тонкія руки, и что-то сжималось и сохло въ ней, въ самой серединѣ.

Отъ сугробовъ въ избу черезъ слѣпыя окна вливались густыя, синія тѣни, расползались по лавкамъ и глиняному полу, и сплетались въ колдовскіе узоры.

Все хотѣлось кого-то и о чемъ-то спросить, и некого было.

Лѣтомъ, когда въ избѣ тучами плавали и гудѣли мухи, Антонина родила дѣвочку съ огромнымъ пятномъ въ половину лица. Пятно было ярко-багровое, начиналось на лбу тремя наростами и спускалось, черезъ лѣвый глазъ и всю щеку, на тонкую шею, точно звѣриная лапа сжала на лицѣ когти и взрыла кожу кровавыми бороздами.

Когда ребенокъ плакалъ, онъ становился страшнымъ, превращаясь въ одинъ уродливый красный комъ, а когда смѣялся, то казалось, что онъ плачетъ.

Звѣриная лапа вырвала изъ него смѣхъ еще до рожденія, и улыбки его были жалкой поддѣлкой подъ улыбки дѣтей.

— Это что?... Это зачѣмъ?—строго спрашивала у всѣхъ Антонина, когда, испуганная, устала плакать.

— Родимое пятнышко это,—говорили бабы.—Родимое, такъ и будетъ... Это ничего.

— Отчего это, бабоньки, отчего это?

— Кровь запеклась... Съ глазу это бываетъ, съ чернаго. Черные глаза, они завидущіе... Кабы знать,

чей глазъ привесть бы.—снять бы. да гдѣ его узнать, чей? Терпи, голка... Это скорбь тебѣ дадена въ наказаніе... Богъ наглѣпитъ рогъ, и то носить надо.

Бабы все были степенныя, и оттого то, что онѣ говорили, казалось такимъ прочнымъ, какъ резенныя плети. Мало было словъ у нихъ для объясненій и жалобъ, и потому широкія это были слова, и много было вложено въ нихъ нѣмого смысла.

Но Антонина боялась этихъ словъ, боялась бабъ и сухой свекрови, и матери Меланьи, и невѣстки Марьи.

Она кормила грудью жалнаго плакучаго урода и закрывала ему лицо, чтобы не глядѣть. Только въ высокомъ коноплянникѣ на огородѣ, гдѣ никого не было видно за толстыми плотными стеблями и душными листьями, Антонина долго глядѣла на чмокающее багровое личико, прикрывала пятно рукою и шептала страстно и отчетливо:

— Уродина ты моя, несчастная!

Уродина! А, ты уродина? Кому ты нужна будешь? Кто тебя любить будетъ?

Ребенокъ морщился, можетъ быть, пробовалъ улыбнуться, но выходило такъ, какъ будто собирался плакать. Тогда Антонину охватывала жалость, похожая на злость; она тискала дѣвочку, подбрасывала ее выше коноплянника, и когда она начинала ревѣть животно и раздирающе, ложилась и плакала вмѣстѣ съ ней.

Она стала подозрительной и ревнивой. Ей все казалось, что на всѣхъ перекресткахъ говорятъ о ней и [illegible] ее [illegible]

Ребенокъ былъ крикливый, болѣзненный и по но[illegible] [illegible] ночи подолгу короткія и [illegible]

[illegible] Антонина ясно начинала [illegible] ей и никому [illegible] что онъ ей про[illegible] оба ждали [illegible]

Спали въ ригѣ, такъ какъ въ избѣ было душно. И просыпаясь подъ крики ребенка, Антонина видѣла, какъ на широкихъ воротахъ риги, подбѣленныхъ луной, мелькали уродливыя лѣсныя тѣни и смѣялись.

Слышалось тяжелое сопѣнье спящей свекрови справа, и тихо ползущій по землѣ крадущійся шопотъ Дениса:

— Максимка, разѣ онъ умѣетъ?... соплякъ! Куды ему?... Эхъ, закатили бы такую дѣвку,—заглядѣнье!..

Антонина еле видѣла его въ темнотѣ, но онъ представлялся ей ярко,—нескладный, всегда полупьяный, съ мочалистой свѣтлой бородой, съ незакрытыми, видными насквозь, смѣющимися глазами.

— Скажу!—угрожающе шептала она, подымаясь.

— Ну-ну-ну... лежи знай.. Я ничего, вѣдь.. такъ... —ползъ ей въ отвѣтъ безпокойный шопотъ Дениса.

Отвернувшись, онъ начиналъ храпѣть и засыпалъ и стоналъ во снѣ.

Въ проточномъ прудѣ за огородами, надсаживаясь, квакали лягушки, и жевала на дворѣ лошадь, фыркая длинными губами.

Антонина мѣряла пятно каждый день узкой каемкой рукава и все ошибалась; то ей казалось, что оно растетъ больше и спускается на правый глазъ, то казалось, что оно сбѣгается къ уху и свѣтлѣетъ.

На пятой недѣлѣ по маленькому тѣльцу пошли нарывы, большіе и яркіе и, должно быть, болѣзненные, потому что дѣвочка кричала, почти не умолкая.

Антонина выбилась изъ силъ. Она вся ушла въ нѣмое, крикливое, неизвѣстное ей существо, ушла испуганными глазами, боясь дотронуться; стала прозрачной и чуткой, вздрагивающей и требующей отвѣта.

— Это ничего: дурная кровь выходитъ,—говорили бабы...

IV

Загорѣлось Милюково раннимъ утромъ. Невѣрный излучистый свѣтъ взбирался на сѣрое небо, блѣд-

ный и тихій, а ему навстрѣчу съ земли тигровыми бросками кидалось увѣренное въ себѣ кровавое пламя, веселое, какъ пирующій богъ.

Отодвинулся и почернѣть лѣсъ, и нахмурилось небо.

Дуть въ это время свѣжій, только что проснувшійся вѣтеръ и раздувать огонь, какъ мѣха большой ярко-красной гармоники.

Будто застучать градъ по крышамъ, залаяли собаки сразу во всѣхъ концахъ, жалобно замычали коровы, закудахтали куры. Темная земная сила проснулась и подняла людей, и въ двойномъ свѣтѣ,—блѣдномъ и пугливомъ отъ зари и въ непривычномъ дерзкомъ и рубиновомъ отъ огня,—люди заносили кругомъ растерянными крикливыми тѣнями. Ихъ тѣла расплывались въ дымъ, а крики разбирались въ безсильные клочья рычаньемъ пламени, крушащаго на пути у всѣхъ толстыя бревна избъ, какъ прутья, и сжигая только что сложенныя хлѣбъ, какъ пучки соломы.

Съ большихъ сѣрыхъ вѣтвей, ободранныхъ и кожаныхъ, мелко сыпали горячіе пепелъ. Огонь долго кружился въ нихъ, колеблющимися кругами, наконецъ, захватилъ и взялъ отъ радости и вознесъ въ сѣрой листвѣ, какъ красный цвѣтъ, полосатыя гнѣзда, какъ шишки.

Вверху метались голубыя молчаливыя тѣни, и еще выше [illegible] хлопотливыми крикливыми [illegible] [illegible] [illegible] тѣнями.

[illegible] и мягко бросались [illegible] и новыя [illegible]. [illegible] на черной, точно [illegible] [illegible] небо. [illegible] Нагрѣлся воздухъ [illegible] [illegible] крыши [illegible] [illegible] ложились

трубу сломали. Дребезжа, проскакивали сквозь толпу плещущія бочки съ водой, и метался вслѣдъ за ними, безнадежно махая руками, сотскій Денисъ съ закопченной мѣдяшкой на груди.

Гнали за околицу ревущихъ коровъ; взбѣсившіяся лошади съ кровавыми глазами мчались по улицѣ, топча вынесенный скарбъ. Изступленно визжали свиньи, блеяли, точно плакали, овцы.

Когда желтое далекое солнце, хрустально хрупкое и звенящее, сбросило крышу дыма игольчатыми лучами и глянуло внизъ съ посинѣвшаго неба, на него снизу узко глядѣло, безстыдно смѣялось и плясало на развалинахъ другое, земное солнце, гогочущее и оголенное, точно растрепанная пьяная баба въ красномъ кумачѣ, загулявшая на свадьбѣ.

Оно катилось, руки въ боки, широкой полосой, охвативъ болѣе ста избъ, болѣе ста ригъ, ломая ребра потолковъ и стѣнъ, размахивая въ воздухѣ снопами соломы, какъ оранжевыми платками съ черной каймой.

Стояли и глядѣли люди.

Изъ общаго шума огня и гула голосовъ изрѣдка вырывались односложные бабьи вскрики:

— Матрешка занялась!

— Яшка кузнецъ занялся!

— Глянь-ка, глянь-ка,—Лукерья занялась!

— Ягодки!... Страсти-то какія!...

Крестились; влажно всхлипывали; утѣшали.

У мужиковъ были лохматые волосы и отупѣлые глаза.

— Хлѣбъ сгорѣлъ,—вѣдь это что?

— Подъ итогъ теперь нищіе...

— Нищіе и есть, и болѣ никакихъ...

— Кабы хлѣбъ былъ, промаялись какъ ни какъ, а теперь шабашъ.

— Крышка... Съ чего тутъ взяться?

Говорили спокойно и увѣренно.

Въ простыя, тысячу разъ повторявшіяся слова теперь вложены были всѣ рычаги и не нужно было больше никакихъ словъ.

Пылало красное.

То веселое, то бурное, то хохотавшее, то свирѣпое.

Втрывалось въ небо и землю, жрало то, что было сухо и готово, трескучее облизывало листья ветелъ, притворялось измученнымъ и отлыхало на обугленныхъ бревнахъ и вдругъ неожиданно и пушисто вспыхивало снова.

Отроженье сѣно было и румяное, а толпа людей убогая и сѣрая.

Мелькнула какая простоволосая баба въ шушунѣ и уныло выгудѣла, какъ вѣтеръ въ трубѣ, ея изступленный голосъ:

— Родимыя-и... Лошадки сгорѣли!... родимыя-и...

Двѣ кошки — одна желтая съ бѣлымъ, другая черная, жалобно мяукая вертѣлись около тлѣвшихъ развалинъ.

— Кис-кис-кис — отозвались имъ ребятишки.

Но кошки не слышали. Съ озябоченными острыми мордами онѣ искали свои бывшія избы, метались вотрепо кошки по горящимъ обломкамъ, потомъ пропали въ огнѣ. Сначала пестрая, за ней черная.

— Кис-кис-кис — звали ребятишки.

Въ красной рамѣ огня на среднемъ планѣ все струилось въ сѣромъ дымѣ, стлалось волнистымъ и легкимъ какъ отраженье, и увидѣли тамъ на струистой изъ воздушнаго человѣка въ дерюгѣ съ багромъ въ рукахъ — отстаивать избу, отбивать летящія головни, какъ вражьи стрѣлы. Вспыхнули за его спиной иглы и исчезъ въ дымѣ человѣкъ.

Толпа шарахнулась было впередъ и задохнулась на нестерпимой жарѣ, кто-то повалился отъ зноя, кто-то визгливымъ голосомъ закричалъ истерично; мужицкій бѣлокурый мальчишка бѣлый червивое яблоко, оплевалъ его на землю и закашлялъ.

— Православные!... Къ храму идетъ! Православные, спасайте, Бога ради!...

Это бѣжалъ о. Романъ, сѣдой, страшный, безъ шляпы, въ опаленномъ подрясникѣ, худой: пять тонкихъ костяшекъ на правой рукѣ, пять на лѣвой.

Колокольня одѣвалась въ черный дымъ, какъ въ рясу; она притихла и стала ниже; яркіе разводы, бѣлые на синемъ, пугливо потускнѣли. Прямо передъ ней пылалъ высокій осокорь—и вѣтки его были четко видны, всѣ красныя, точно скованныя изъ каленаго желѣза.

Съ осокоря на колокольню тучей летѣли обгорѣвшіе листья.

Кинулись къ церкви, а съ полей далеко донесся мелкій сплошной трескъ отъ горящей травы.

— Проса горятъ! До просовъ дошло.

Неслось впередъ пламя, теперь уже высокое, кудрявое, далекое отъ людей. Безучастно рокотало на свободѣ емкое и сытое, и дышало горячимъ на версты кругомъ до самаго лѣса.

Передъ колокольней валили избы, въ землянки на огороды поспѣшно тащили чьи-то старые тулупы, вынесли иконы на паперть...

Хлынули къ просамъ, а оттуда съ другого конца новые толки:—Филатъ Кочетыговъ умомъ тронулся... Праскутка его чуть въ дыму не задохнулась, насилу водой отлили.....

— Антонины порченой дѣвчонка сгорѣла совсѣмъ съ люлькой.

Добѣжали до Филата Кочетыгова. Тощій, паукообразный, съ блестящими глазами на пыльномъ лицѣ, онъ только что прискакалъ съ луговъ за пятнадцать верстъ и загналъ свою лошадь до смерти. Она лежала тутъ же около бурой кучей, съ раздутымъ животомъ, съ пѣной у ноздрей, съ прямыми ногами. Онъ думалъ отстоять добро, но увидѣлъ, что все сгорѣло—изба, кладовая, рига,—увидѣлъ, какъ волокутъ по землѣ, какъ колоду, его дочь Прасковью, и обезумѣлъ.

Теперь злой и страшный тянулъ онъ за хвостъ въ огонь свою бурую лошадь и прикрикивалъ:

— На, жги! На, жги! Жри, ненасытная утроба!...

Потомъ схватилъ домъ и полѣзъ въ огонь самъ, кому-то грозясь и кривляясь.

Пять человѣкъ еле связали Филата.

А въ сторонѣ отъ него бабы облѣпили Антонину, какъ пчелы, и какой-то высокій старикъ, съ висячими бровями, хрипло отчитывалъ ее въ кругу:

— Суки,—не матери! Небось, всѣ горшки, подлюга, повытаскала, а ребенка забыла... Бѣльмастый чертъ! Что стоишь, какъ статуй?

— Съ испугу это она... Побѣгѣешь,—ишь страсти какія!—зашипали бабы.

— А ты поплачь, поплачь, ягодка,—полегчаетъ.... Садись, да поплачь!

Въ тѣснотѣ людского участія и укоризны Антонинѣ было душнѣе, чѣмъ въ дыму.

Лицо у нея было блѣдное, волосы выбились изъ платка, глаза освѣтлѣли и стали большіе.

— Съ люлькой!... Какъ спала, ангельская душка, такъ и сгорѣла!...—визгливо объясняла кому-то Марья.

Качали головами и точили изъ глазъ ѣдкую жалость бабы, запыленныя, приземистыя, сухія отъ работы и липкія.

— И на что она вамъ нужна была? Уродъ! Вѣдь она уродъ была!—вдругъ закричала, пошатнувшись впередъ, Антонина:

— Вы бы надъ ней измывались, проходу бы ей не давали, кабы жива была!... Теперь стала нужна, какъ сгорѣла, а какъ жива была: терпи, ягодка,—это тебѣ въ наказаніе дадено... Да я, можетъ, не хочу терпѣть!... Не за что меня наказывать! Не хочу терпѣть, вотъ и все! Душа у меня сгорѣла! Не могу терпѣть, вотъ и все!

Она дышала съ трудомъ, и оттого слова вылетали надсаженныя, короткія, и трепались, какъ ея волосы. Подскочила Марья, метнулась передъ глазами безбро-

вымъ лицомъ и плюнула ей въ подбородокъ. Потомъ туча дыма, повернутая вѣтромъ, залѣпила глаза, и не слышно было, что кричали бабы.

Занялась вблизи старая рига съ хлѣбомъ, и стало ярко и жутко, и горячо глазамъ.

Молодой русый мужикъ плеснулъ въ огонь ведромъ воды, потомъ остановился и созерцательно смотрѣлъ, какъ чисто обгладывалъ онъ его добро желтыми зубами.

А сзади раскололся воздухъ отъ треска, звона и шума: это стрѣляла лопающимися стеклами колокольня, и вылъ, какъ стая собакъ, выбившійся изъ силъ народъ.

Сгорѣла половина села. Отъ церкви пламя отдуло вѣтромъ, и послѣ о. Романъ всѣмъ говорилъ, что случилось чудо, и что чудо это сдѣлала одна очень старая икона. Въ новыя иконы онъ самъ мало вѣрилъ, хотя ѣздилъ на собесѣдованія со старовѣрами и горячо обличалъ ихъ въ томъ же невѣріи, ссылаясь на какіе-то древнѣйшіе тексты.

Въ округѣ жило много старообрядцевъ, молоканъ, скопцовъ. Темный лѣсъ пріютилъ ихъ села, какъ грибы у корней, не разбирая, хорошіе или плохіе, раскинулъ надъ ними зеленые купола, обвѣялъ кадилами болотныхъ цвѣтовъ и заткалъ паутиной старины дороги. Въ ихъ рукахъ были лѣсопилки и лѣсные сплавы, заводы и фабрики.

Недалеко отъ Милюкова, верстахъ въ пяти, тоже на лѣсной полянѣ, стояло село Пантерево, село большое и богатое. Пантеревцы занимались воровствомъ. Были изъ нихъ конокрады, фальшивомонетчики, кустари-карманники, промышлявшіе на ярмаркахъ.

Послѣ пожара Милюковцы ринулись было на Пантерево, подозрѣвая воровъ въ поджогѣ, но тѣ ихъ отбили ножами и кольями и гнали по лѣсу вплоть до Милюкова.

Во время побоища изувѣчили Фильку и чуть не убили силача Кирика. Избы ихъ обоихъ уцѣлѣли,—

огонь прошелъ стороною, немного вправо,—и въ избѣ Кирика пріютили Дениса съ женой.

Антонина совсѣмъ ушла изъ Милюкова.

Ее отпустили, потому что нужны были деньги для постройки, потому что она стала странная и пугливая и бредила по ночамъ ребенкомъ, потому что въ небольшомъ хозяйствѣ Кирика она сдѣлалась лишнимъ ртомъ.

V

На огромной лѣсопильнѣ старовѣра Бердоносова, куда поступила Антонина стряпухой въ артель, жилъ въ сторожахъ Зайцевъ. Прежде онъ былъ звонаремъ въ соборѣ, и колокола пѣли и говорили подъ его руками, и самъ собѣ онъ казался колоколомъ, только самымъ большимъ и старшимъ, тоже говорилъ и пѣлъ и жилъ въ немъ всѣ звуки другихъ колоколовъ, какъ искры въ хорошей стали. Но однажды, [illegible] арьергардъ, онъ сыгралъ «Камаринскаго», [illegible] Брелъ безъ дѣла по толкучкѣ и [illegible] грязныхъ притонахъ. Зайцевъ захватилъ [illegible] водки, пропилъ его и, наконецъ, ушелъ, [illegible] отъ пугались дѣти.

[illegible] тамъ тѣ были носъ, не[illegible] длинные зубы разрушены и гно[illegible] [illegible] среди нихъ глядѣли, какъ [illegible] коленкоры и приплюснутые [illegible] ноздрями. Нельзя было сказать, [illegible] понять всего, что онъ [illegible] и расслабленный, ходилъ [illegible] пиджакъ и закрывалъ [illegible] шарфомъ. Онъ числился [illegible] колокольчикъ на работу и [illegible] къ Бердоносовъ [illegible] и для спасенія [illegible] будто бы не вы-

Жилъ онъ въ отдѣльной сторожкѣ. Изъ его рта никто не бралъ папироски, стѣснялись здороваться съ нимъ за руку. «Гребостно, ну его къ шутамъ: паршивый онъ», говорили о немъ мужики.

Антонина увидѣла его вблизи на другой день. Гудѣла машина, стучали топоры. Отъ большого новаго дома самого Бердоносова, съ рѣзными окнами и крылечкомъ, къ спальнямъ рабочихъ шла по зеленой травѣ тропинка; сѣялся мелкій дождь, и лѣсъ казался синимъ и глубокимъ, какъ омутъ.

Было жутко отъ новаго мѣста и дождя и стука невидныхъ топоровъ, но когда вдругъ къ окну кухни подошелъ своей расхлябанной молодцеватой походкой Зайцевъ въ цвѣтномъ шарфѣ поверхъ рта и глянулъ на нее раскисшими остатками глазъ, она всплеснула руками, ахнула и откачнулась.

Зайцевъ прошелъ дальше, гундося какую-то скабрезную пѣсню, а Антонина, придя въ себя, несмѣло выглянула изъ окна и долго смотрѣла ему вслѣдъ.

— Это, — кто — это? — испуганно спросила она у стѣнъ.

Къ обѣду пришелъ на кухню и Зайцевъ съ отдѣльной посудой, что-то мычалъ и хлюпалъ и улыбался облѣзлыми бровями. Антонина видѣла въ окно, какъ онъ несъ свой обѣдъ въ сторожку одной рукой, а другой придерживалъ шарфъ, и походка его, оттого что были заняты руки, стала еще болѣе развинченной и невѣрной.

Сходились на кухню партіями пильщики и дроворубы, кряжистые здоровяки, сами похожіе на корявые пни, съ яркими опилками, застрявшими въ густыхъ бородахъ, и приносили съ собой густой запахъ лѣсныхъ трущобъ и трясины.

И голоса у нихъ были нетронутые, рѣзкіе, какъ трескъ падающихъ подпиленныхъ сосенъ.

Щи дымились и окутывали ихъ теплымъ паромъ, и въ немъ они сплющивались въ одну сплошную кучу косматыхъ головъ и широкихъ плечъ.

Антонина не могла ихъ отдѣлить одного отъ другого, но ее сразу отмѣтили мужики. Кто-то назвалъ ее кралей, и всѣмъ понравилось.

— Краля, подлей-ка щей!

— Краля,—кашки!

— И откуда ты взялась на нашу голову? Краля и есть!

— Допрежь тебя тутъ старуха была, Домахой звали... Не понравилось ей у насъ,—хлопотно.

— Да знаетъ она, чай... чего зря-то!..

Глаза мерцали, какъ огоньки на болотѣ; косматыя головы торчали кругомъ, какъ густой камышъ.

Не уходили, пока не звякнулъ и не залился колокольчикъ, и всѣмъ вдругъ стало досадно.

— Безносый чертъ!—отъ души кто-то ругнулъ Зайцева во всю мочь легкихъ.

— Объѣдокъ свиной!.. Музыкантъ!.. — поддержалъ другой.

— Заяцъ драный!

Они выходили неторопливо, какъ ребята, толкались въ дверяхъ, жали масло, и захохоталъ кто-то, точно упало съ печи желѣзное ведро. А въ окнѣ Антонинѣ видно было, какъ у столба стоялъ и звонилъ Зайцевъ. Рядомъ съ высокимъ столбомъ онъ казался совсѣмъ маленькимъ, сдавленнымъ, легкимъ; сѣялся мелкій дождь и куталъ его, какъ въ паутину, точно хотѣлъ подтянуть по веревкѣ куда-то вверхъ и тамъ повѣсить безъ остатка; и голосъ колокольчика былъ какой-то невинный и гундосый, какъ его голосъ, согнутый болѣзнью.

Вотъ онъ ударилъ рѣзко разъ, два, три, завязалъ веревку, посмотрѣлъ кругомъ и пошелъ въ сторожку, прихрамывая правой ногой.

Антонина все время смотрѣла, какъ онъ шелъ, и сама не знала почему ждала и хотѣла, чтобы онъ оборотился. Онъ оборотился и посмотрѣлъ на кухню, прямо на нее, какъ смутъ, лѣсъ, кашлянулъ и по-

шелъ дальше все тою же вихлястой походкой, точно ввинчивалъ въ землю ногами ползучія мысли.

Зеленая желѣзная крыша на двухэтажномъ домѣ Бердоносова, вся мокрая отъ дождя, отливала мигающимъ серебромъ, и кусочками, спустившимися съ этой же крыши, казались бѣлыя сторки на окнахъ. Шипѣла и фукала машина, точно кто-то большой вблизи куда-то плылъ по шею въ водѣ и отдувался отъ усилій черезъ каждую секунду, все оставаясь въ томъ же мѣстѣ.

Въ кухнѣ было чадно и стучало въ виски, и незакрытая печь глотала тишину разинутой пастью.

VI

Дня черезъ три, ночью, до Антонины долетѣли глухіе и далекіе стуки, и она вспомнила, что это Зайцевъ не спалъ, обходилъ склады досокъ и бревенъ и стучалъ колотушкой: будилъ сыто спящую ночь и жаловался ей на свое уродство, на то слѣпое и близкое, что прошло по немъ когда-то тоже ночью и раздавило въ немъ Божій образъ.

Ночь была сырая, темная и холодная,—это ясно представляла Антонина по теплой кухнѣ. На перебой одинъ передъ другимъ трещали въ двухъ разныхъ углахъ два сверчка, и слышно было, какъ хлопотливо ползали тараканы, точно шушукались стѣны.

Отъ этого и отъ вѣчнаго запаха печи въ кухнѣ было домовито и уютно, и еще болѣе огромнымъ и жуткимъ представлялся лѣсъ за окномъ.

Но въ лѣсу жаловался безносый шарикомъ колотушки. Одинъ и маленькій и гнусавый стоялъ передъ большимъ и всесильнымъ и спрашивалъ: почему?

Дальше за лѣсопильней—Антонина знала—тянулась топь, по которой вились только чуть замѣтныя рысьи тропинки, и цвѣла высокая череда между тонкой ольхой и кустами крушины. Вода тамъ была хо-

ползая и стерегущая прятались за яркой зеленью и выжидающе выглядывали изъ-за стволовъ темными глазами, чтобы броситься, вцѣпиться и сосать.

Летали неслышно совы и вонзали когти въ сонныхъ сиротъ. Антонинѣ чудилось, какъ онѣ, пойманныя, вскрикиваютъ и бьются, недолго,—и опять неслышно летятъ совы, и молчитъ тоска.

Лѣзли въ глаза маленькая гѣвочка съ родимымъ пятномъ, совсѣмъ маленькая,—красный кусокъ мяса,—чужая и забытая и потомъ вдругъ своя и вся знакомая до послѣдняго стебля крохотнаго пальца. Плакали, вся превратившись въ крикъ, уползали вглубь глазъ и пуговки носа, не багровѣло, надуваясь, темное пятно съ тремя когтями на лбу. И такъ они оставались долго,—страшное пятно и открытый кричащій ротъ,—пока не полыхался желтый огонь съ змѣистыми зубами и не затянулъ въ дельту. Что-то трещало въ ушахъ: это палъ потолокъ внутрь избы,—спѣшилъ прикрыть,—и шумно взлетѣли тучи мелкихъ и крупныхъ искръ и закрыли небо.

Антонина молилась, перекрестилась, зажгла было спичку и тутъ же потушила, потому что стало еще страшнѣй.

Тараканы испуганно шарахнулись въ темныя щели, и слышно было, какъ они кувырькомъ летѣли со стола и падали на полъ.

Почему-то подумала объ окнѣ: окно было низкое и отворялось безъ скрипа.

Спальня была тутъ же за кухней—тамъ спали крѣпко—отъ шевелилась отъ крика.

И опять донеслись далекія колотушки, сначала бойкія и торопливыя, какъ бѣга лошадиныя, потомъ осмотрѣлись, тянулись, прохлаждаемыя сыростью, безотвѣтностью и тишиной.

Выросли тонкія, какъ молодыя березки, блеснули бѣлой корой въ темнотѣ и пропали.

Антонина не могла себѣ объяснить, зачѣмъ она слѣзла, ощупью нашла платье, отворила окно и тихо

соскочила на дворъ, но на дворѣ, несмѣло пробираясь на стукъ въ темнотѣ сквозь кусты лебеды и щепки, она поняла, что ее толкаетъ любопытство, что это почему-то страшно, что кто-то будетъ надъ нею смѣяться, но что она, все равно, пойдетъ.

Залаяла собака вблизи, сразу отчетливо и рѣзко, за ней другая меньше и дальше, можетъ быть, около Зайцева. Продвинулся впередъ Бердоносовскій домъ съ сараемъ двумя мрѣющими темными пятнами, и юркнули въ глаза ворота съ широкой крышей, похожей на гробъ. Собака узнала, визгнула и пошла рядомъ; собака была пестрая, — бѣлая съ чернымъ, и видно было, какъ двигались только одни бѣлыя пятна; гдѣ-то въ воздухѣ вилялъ бѣлый хвостъ, и стало почему-то смѣшно, потомъ тоскливо. Кубаремъ подкатилась и другая собаченка, каштановая днемъ, теперь сѣрая, какъ земля.

Антонина остановилась, оглядѣлась и совсѣмъ близко услышала колотушку.

Привыкшіе къ темнотѣ глаза безносаго наткнулись на нее вдругъ и встревожились.

— Это кто тамъ?—строго плеснулъ онъ въ воздухъ.

Слова глухо шлепнулись около, какъ прыгнувшія жабы.

— Это я... стряпуха, — несмѣло отвѣтила Антонина.

Безносый промычалъ что-то и подошелъ ближе, вышмыгнулъ изъ темноты, чуть звякая колотушкой, и уже можно было разсмотрѣть, что онъ или въ высокой чуйкѣ или въ тулупѣ: торчалъ воротникъ выше головы и висѣли полы.

Подошелъ, кашлянулъ; стало слышно душное сопѣнье...

— Стряпуха?.. мм... Дѣла!.. Наши, значитъ, тово... не зѣваютъ?

Прогундосилъ и засмѣялся,—по пѣтушьи заклохталъ горломъ.

Антонина стояла и смотрѣла и чувствовала, что робость ея куда-то уходитъ.

— Съ кѣмъ снюхались-то?.. Интересно секретъ узнать. — къ кому это вышла?—Въ шуршащихъ словахъ прятались зависть.

— Къ тебѣ—просто отвѣтила Антонина.

— Смѣлая тутъ вечера. — обидѣлся Зайцевъ и [illegible] —ко мнѣ вѣдь тоже ходили... [illegible] —такой всегда былъ?.. Я герой [illegible] теперь не пойдутъ.

— А я вотъ пришла—такъ же просто и тихо отвѣтила Антонина.

— А я не посмотрю и по шеѣ дамъ—прошипѣлъ, [illegible] Зайцевъ.

— Зачѣмъ по шеѣ? [illegible]

— Зачѣмъ не знаю. [illegible]?.. Ишь, на [illegible] вышла?—[illegible] возьму и не [illegible] не знаю.

[illegible] вышла — [illegible] — объ[illegible] Антонина.

[illegible] и [illegible]

[illegible] мнѣ [illegible]... Ту[illegible] —[illegible] [illegible]

[illegible] Больше [illegible] и [illegible]

[illegible] вы[illegible] [illegible] за [illegible] [illegible] Зайцевъ [illegible]

[illegible] [illegible]... [illegible]

[illegible] — [illegible] мнѣ

дѣвчонка такая была, тоже уродъ... Я ее въ избѣ бросила, какъ изба горѣла.

— Угу... промычалъ Зайцевъ,—неизвѣстно, сочувственно или недоумѣнно.

— Бросила!—подчеркнула Антонина.—Люди говорили—забыла, а я нарочно бросила... Кому она нужна такая? Мучилась бы цѣлый вѣкъ... только и всего.

Зайцевъ молчалъ, и мокрая, душная отъ испареній ночь тоже молчала. Это испугало Антонину.

— Можетъ, я и не нарочно,—добавила она вдругъ. Пожаръ у насъ былъ большой, почитай все село сгорѣло... Можетъ, я и забыла... А только я подумала, что это хорошо, что ее Богъ прибралъ. Страшная она была, Богъ съ ней. Такъ я и подумала: вотъ хорошо какъ!.. Она и безъ мученій,—много ей нужно,—задохнулась и все... А тамъ ужъ одни косточки горѣли, ей не больно...

Безносый крякнулъ, кашлянулъ и засопѣлъ; хотѣлъ что-то сказать, но промолчалъ, какъ и прежде.

Внизу было тихо, а вверху быстро-быстро бѣжали тучи съ бѣлыми краями, была какая-то своя особенная жизнь, все новая, все уходящая, безъ звуковъ, но большая и слышная.

— Вру я все!—крикнула вдругъ Антонина:—сама я ее въ избѣ бросила,—пусть горитъ,—сама, а не забыла!

— Это ты нехорошо...—прогундосилъ Зайцевъ...—Грѣхъ!

— А ты меня не трави, безносый! Не трави, я сама знаю! Почему это нехорошо?.. Грѣхъ?.. А я виновата? Я виновата, что она уродъ?

Антонина дернула плечами и заплакала сразу и громко.

Встревоженная каштановая собачонка протяжно зѣвнула и тявкнула.

— Ты бы сѣла,—прогудѣлъ Зайцевъ.—Вонъ бревна то,—сядь.

Отъ бревенъ пахло смолой и вяжущимъ запахомъ древесины. Трупы деревьевъ тихо тлѣли, набальзамированные соками земли. И, сидя на нихъ, двое людей думали о смерти. Антонина уронила голову на руку и такъ сидѣла, согнувшись, вся тоскливая и влажная; Зайцевъ усиленно сопѣлъ, хотѣлъ что-то сказать и только тихо кашлялъ и запахивалъ голову въ высокій воротникъ.

Прямо передъ ними торчала сторожка, какъ сухой грибъ, приросшій къ высокимъ воротамъ и къ убитому гвоздями щетинистому забору.

Заскрипѣла дверь спаленъ, — кто-то вышелъ, потомъ опять заскрипѣла,—вошелъ.

Тявкнула каштановая собачонка.

— Судить меня некому,—заговорила, не поднимая головы, Антонина... И кому это нужно, судить? Я сама-то никому не нужна... Пусть никто и не вступается, когда такое дѣло... Мое дите... Я этого не знаю, съ глазу или не съ глазу, а я вотъ не хотѣла, чтобъ она нелюдью была, чтобы измывались. Тебя, небось, никто не пожалѣтъ, какъ носъ провалился... Да, можетъ, и жалѣть-то не къ чему! Такъ это, выдумка одна.

Зайцевъ завозился, сплюнулъ и поспѣшно зажевалъ во рту обрѣтки чужихъ словъ.

А я и не люблю вовсе, когда жалѣютъ. Мнѣ по [illegible] на паперть нужно, милостыньки просить, я вотъ не захочѣтъ, гордость во мнѣ есть. Какъ не [illegible] и шабашъ. Мнѣ пускай смѣются, а я [illegible] сижу и думаю... Лѣсъ не городъ. [illegible] не какъ въ городу: ото всѣхъ [illegible] быть можетъ... Я этому [illegible] Конечно такая а не я... Отъ болѣзни [illegible]

[illegible] и безсвязно, говорилъ, точно [illegible] и растиралъ кирпи- [illegible] разбитной и ловкій, [illegible] былъ тотъ городъ, въ

которомъ онъ встрѣчалъ «Камаринскимъ» архіерея. Потомъ перешелъ на любовь, и вышло, что его любили многія за лихость, за обходительность, за то, что у него были новые сапоги съ наборомъ, или вышитая рубаха изъ сатинету, но совсѣмъ какъ шелковая; любили и за то, что онъ игралъ на двухрядной итальянкѣ—такъ же складно, какъ звонилъ въ соборные колокола, и пѣлъ пѣсни заливчатымъ теноромъ, какъ настоящій пѣвчій.

Антонина напряженно ловила и округляла въ слова его объѣдки. Составлялась цѣлая жизнь, полная и по своему красивая, которую кто-то сразу сломалъ, какъ палку на колѣнѣ, а обломокъ бросилъ въ бѣлый водоворотъ.

И нельзя было найти виноватаго во всемъ этомъ, кромѣ самого Бога.

Она хотѣла представить, какимъ былъ Зайцевъ до болѣзни, но не могла предстатить и спросила.

— Я-то герой былъ!—живо захрипѣлъ въ отвѣтъ Зайцевъ.—Носъ у меня былъ не кирпатый какой-нибудь, ни-ни, а такой даже длинноватый, вострый, съ горбинкой... Губы это, тоже красныя, налитыя... усики... Волосъ былъ прямо всѣмъ на удивленье вьющій, кудрявый, дѣвокъ зависть брала... Красота былъ парень... Въ зеркало на себя, бывало, не нагляжусь... А теперь вонъ какъ скрутило... Шесть годовъ въ больницѣ лежалъ, то приду, то выпишусь, немного похожу, опять приду... Шесть годовъ гнилъ...

Антонинѣ начинало казаться, что рядомъ съ ней сидятъ двое въ одномъ: молодой-красивый и старый-уродъ, и ей хотѣлось думать, что урода совсѣмъ не было, что въ подпоясанной чуйкѣ ловкій, красивый парень съ кудрявыми волосами, въ рукахъ у него гармоника двухрядка, и вотъ сейчасъ онъ ударитъ что-нибудь веселое, Камаринскаго, частушку,—и пойдетъ отбивать тактъ высокими каблуками.

Но въ гнусавыхъ волнахъ голоса проплывалъ передъ нею искалѣченный уродъ, котораго пугались дѣти,

ней, работавшихъ около машины, и смѣялся надъ ними своимъ гортаннымъ смѣхомъ, похожимъ на пѣтушиное клохтанье.

Недѣли три это тянулось, какъ осенній дождь, когда въ небѣ нѣтъ ни одного просвѣта, и все что-то сочится, капаетъ, стучитъ по крышамъ, и вездѣ мокро, душно и тѣсно.

Все нахальнѣй и хвастливѣй становился Зайцевъ, и все съеживалась и вбиралась въ себя Антонина.

Одинъ разъ вечеромъ она вышла къ нему строгая и другая, какой онъ не видалъ прежде, и сказала:

— Дура я была глупая... Прямо, съ ума сошла! Вѣдь это я на себя безъ попа питимью наложила, чтобъ съ тобой жить. Съ души воротитъ, посмотрю,— тошнить тянетъ, а я себѣ говорю: это ничего, это тебѣ въ наказанье, что ребенка своего, урода, погубила. Вотъ возьми, да урода и пожалѣй. А теперь не хочу я больше... Все равно, не хочу... Нѣтъ у меня къ тебѣ никакой жалости, ни капелюшки, пропадай ты пропастью, уродина проклятая,—ничего и не было! Такъ я на себя блажь напустила... Давно тебѣ въ сырую землю нужно, а ты еще ее, матушку, топчешь!

— Убивица!—прошипѣлъ сразу увядшій Зайцевъ.— Можетъ, я тебѣ нарочно встрѣлся такой для души спасенья?... Ты это чувствуй!

— Нечего мнѣ спасать... не я убила... Чортъ убилъ... Зеленый, въ водѣ живетъ...

Вспомнила, какъ назвала бабка Марья, и добавила:

— Шишига лѣсная!...

Потомъ повернулась и пошла путаной походкой, а Зайцевъ смотрѣлъ, какъ она тонула въ сумеркахъ, замечался на мѣстѣ, какъ ящерица съ отломаннымъ хвостомъ, и шмурыгая ногами между щепками и кучами опилокъ, поползъ въ сторожку.

Прожилъ Антонину день, два, на третій напился и весь трясущійся, растерзанный, пьяный, днемъ, передъ обѣдомъ остановился подъ окномъ и застоналъ:

— Антонина!

Антонина не отзывалась.

— Антонида, чортъ!... Любовница моя богоданная! Убивица!... Смотри, честной народъ, любовница-то моя, Антонидка, стряпуха-то, ребеночка свово убила.!.. Не пондравился онъ ей, ребеночекъ-то, она его и въ огонь... Жи-во-ва!..

Антонина отворила окно, осмотрѣлась,—на дворѣ близко никого не было.

— Уходи ты отъ меня, уродина, слышишь! уходи, окаянный!—крикнула она, и челюсти у нея дрожали.

Но безносый ухватился за раму и, пьяный, съ шарфомъ, спустившимся внизъ и обнажившимъ оскаленные неприкрытые губами зубы, весь какъ живая смерть, пытался влѣзть въ кухню и срывался.

Антонина плеснула въ него помоями, и капустные листья и корки повисли на немъ, и заструился пиджакъ, а онъ обирался непослушными руками, сопѣлъ и моталъ головой. Подошелъ парень пильщикъ, посланный узнать, скоро ли звонокъ, увидѣлъ пьянаго Зайцева, съ сердцовъ ударилъ его въ бокъ и сшибъ въ лужу, потомъ пошелъ самъ звонить въ колокольчикъ.

Изъ дома съ бѣлыми занавѣсями вышелъ на непорядокъ старикъ Бердоносовъ съ толстой палкой, въ сизомъ картузѣ надъ сѣдыми кудрями вѣнчикомъ, — постоялъ, поглядѣлъ на заснувшаго Зайцева, покачалъ головою, приказалъ убрать съ глазъ долой и зашелъ на кухню.

Былъ онъ согнутъ въ поясницѣ, точно все время таскалъ невидимый пятипудовый куль, но на обвѣтренномъ красномъ лицѣ сидѣли молодые глаза. Внимательно осмотрѣлъ Антонину.

— Что это безносый, сдурѣлъ? Неужто приставать сталъ?

— Еще какъ,—не глядя, отвѣтила Антонина.

— Безносый?—старикъ посмотрѣлъ и затрясся отъ смѣха, слеза прошибла.—Ну, плохо твое дѣло, когда такъ... Тутъ старуху нужно, и то не всякую... Безъ

меня тебя нянчи, и не вышло, убежала тогда. Сейчас колонны возьму тебя за домъ для услуженья, а пока постирай мнѣ...

Пошла изъ кухни, но на порогѣ остановилась, задумалась, вспомнила про Зайцева.

— Безносый!—и опять затряслась отъ смѣха.

И автомобиль стало вдругъ больно, точно смѣялись надъ ней, и захотѣлось за немъ выместить свой гнѣвъ.

— Колонну колонну для дѣй сухую прислать!—крикнула на всю клоунку.

— Ладно,—ты тоже ладно, гнѣвь... Самъ такую бы—отрѣзала колонну, сняла картузъ, вытерла розовую лысину платкомъ и спокойный и довольный, вышелъ, хлопнулъ дверью.

Сидѣли всѣ тихо, испуганные минутнымъ гаромъ ней, обѣдали тайкомъ, косились на Зайцевымъ, хвалили автомобиль за то, что дѣвчонку помолчал.

Закончили чай, кто будет пили съ печи пустыя кружки и пошли на вышкѣ, гдѣ были колонны.

А потомъ, когда нужно было идти на работу, пошли будить Зайцева. И увидѣли, что онъ виситъ, какъ столбъ посреди комнаты на своемъ туго завязанномъ шарфѣ. Увидѣли и испугались прочь отъ него, потому что никогда не видали никого страшнѣе.

VIII

Въ Лаврентьевскомъ домѣ изъ комнатъ въ комнату шли бѣлыя половины полотнаго войлокомъ, отчего не слышно было шаговъ и отъ слушанья мелодекъ и пѣтуховъ на окнѣ и отъ желтыхъ деревянныхъ стѣнъ кольцовъ густой полусвѣтъ, похожій на сумерки. Комнатъ было много и всѣ стояли простая прочная грубая мебель, а на этой мебели сидѣли и лежали задумавшаяся тишина. На въ переднихъ углахъ пугливо глядѣли черныя, старинныя письма, иконы, полнѣвшія обожженныя.

Антонинѣ жутко было въ молчаливыхъ пустыхъ комнатахъ верхняго этажа, гдѣ тишина пахла ладаномъ и кипарисомъ, гдѣ каждый разъ по утрамъ мели полъ, но никто не жилъ. Жили въ нижнемъ этажѣ, ближе къ землѣ и лѣснымъ туманамъ. Здѣсь, какъ тѣнь, слонялся слабоумный тридцатилѣтній Тиша, старшій сынъ Бердоносова, огромный, широкоротый, зимой ходившій босикомъ, нѣмой, вѣчно чему-то смѣющійся, иногда плачущій въ углу. Случалось, что онъ пропадалъ изъ дому и бродилъ по лѣснымъ дорогамъ; тамъ онъ становился на колѣни передъ встрѣчными, снималъ шапку и знаками просилъ погладить по головѣ; если гладили, цѣловалъ руки, если не понимали и смѣялись надъ нимъ,—плевался. Пропадалъ по недѣлямъ, неизвѣстно чѣмъ и гдѣ питаясь, но всегда приходилъ самъ, звѣринымъ инстинктомъ находя дорогу къ дому. На кухнѣ на большой печкѣ постоянно лежала и сидѣла дородная слѣпая восьмидесятилѣтняя старуха Агафья, мать Бердоносова.

Болтливая она была,—говорила о страшномъ судѣ, о серафимахъ, о своихъ снахъ, въ которыхъ такъ ясно все видѣла, что никакъ не могла понять тьмы, когда просыпалась. Но сны были страшные:—гонялись за ней бѣшеные быки съ огненными глазами, или окружала въ лѣсу, въ глубокомъ снѣгу, волчья стая; волки садились въ кружокъ около подола юбки, поднимали острыя морды, скалили длинные зубы и выли,—и она была рада проснуться для новой тьмы.

А высокая и худая, тихая баба Александра, жена Бердоносова, говорила о ней съ завистью, скорбно поджимая сухія губы:

— Что значитъ,—хорошая жизнь! Чужой вѣкъ бабка заѣдаетъ, два бабьихъ вѣка ужъ прожила, а тѣлеса-то,—прости, Господи, согрѣшеніе, согрѣшила, окаянная! — тѣлеса никакъ не износитъ!.. Я-то противъ нее въ гробъ смотрю, все отъ чего,—отъ жизни отъ плохой!

И жаловалась, какъ ее бьетъ старикъ Бердоносовъ.

— Голову въ тотъ объятіе провалилъ... Палкой... Глядишь,— пасыпь мѣста остались. Боюсь я его, проклятаго: къ смерти тотъ вытъ.

Берлоносовъ больше жилъ въ городѣ, гдѣ у него былъ другой домъ при лѣсной пристани, но сюда въ лѣсъ пріѣзжалъ часто и проживалъ подолгу, объѣзжая на тройкѣ телѣжкѣ своимые участки мачтовыхъ сосенъ и тонкаго перелѣсья, особенно зимою, когда много было работы въ лѣсу и мало въ городѣ. Тогда мелькалъ красный платокъ, свѣтилась широкая лысина надъ серебрянымъ вѣнкомъ волосъ, и хозяйски полно раскатывался всюду круглый и жирный, какъ меловый шаръ, голосъ.

Обѣдали всѣ вмѣстѣ за общимъ столомъ, и слѣпая бабка Аѳимья и Антонина,— и, въ упоръ глядя на Антонину, говорилъ Берлоносовъ:

— Тишку ужъ, слѣпъ по улицѣ фертомъ,— ахъ, волки тя ѣшь,— это Зайцевъ-то! Около самой пристани прошелъ съ шарфикомъ. Любопытно... Семьи нѣтъ, вовсе нѣтъ въ лѣсъ для ради души спасенья... И ему больно, а то вѣдь съ голоду сдохнетъ, уродъ. Вѣдь... А онъ... А онъ вотъ какую штуку удралъ ха-ха-ха-ха...

Смѣялся онъ точно черепки въ яму сыпалъ, и какъ-то сразу за концомъ послѣдняго слова. Большое, добротное тѣло у волка, лицо его было страшнымъ, когда онъ смѣялся, наливалось кровью, морщилось вдругъ морщинами, становилось зубатымъ и безглазымъ и большой лысый носъ крыльями раскидывалъ по лицу хищныя ноздри.

Вдругъ остывалъ, бѣлѣлся желтымъ и старымъ и вздыхалъ.

— На твой душѣ грѣхъ молодайка! Теперь онъ съ шарфикомъ-то за тобой по лѣсу ходитъ, спокою ищетъ, а его нѣтъ. Гдѣ тонь тамъ и онъ. Захочетъ на берестѣ вытянуть, а нечистый подъ руку толкаетъ... Вонъ оно что

Всѣ при немъ ѣли молча,—боялись, даже слѣпая Агафья.

Антонина выходила изъ-за стола, вытирая слезы.

— Поплачь, поплачь,—говорилъ ей въ спину Бердоносовъ.—Подумай объ немъ, окаянномъ, можетъ онъ тебя пожалѣетъ, ночью приснится, красавчикъ такой, хе-хе-хе-хе!..

Крестилась, бросая ложку, Александра, и слѣпая бабка передергивала жирными плечами отъ противнаго смѣха.

Входилъ со двора Тиша, опускался на колѣни передъ Антониной, чтобы погладила, и ползъ, не подымаясь, къ столу.

Антонина уходила и слышала, какъ говорилъ Бердоносовъ:

— Хлопотъ онъ мнѣ надѣлалъ, безносый, не тѣмъ будь помянутъ! Уголовное дѣло, какъ же! Какъ смѣлъ повѣситься безъ ихъ приказанія? Мухи на лбу не убей! Ни дунь, ни колыхни, какъ въ болотѣ!

Она знала, что тѣло безносаго долго лежало въ сараѣ, пока пріѣхалъ кто-то съ золотыми пуговицами, посмотрѣлъ издали и разрѣшилъ зарыть.

Зарыли его въ лѣсу около дороги и поставили на могилѣ вмѣсто креста березовый колъ, — были твердо увѣрены всѣ, что такимъ не годится ставить крестъ, какъ погубившимъ душу. Потомъ кто-то выдернулъ колъ, и остался чуть видный бугорокъ подъ кустами орѣшника.

Фукала лѣсопилка, задыхаясь отъ усилій, точно кто-то большой, какъ вся просѣка, хотѣлъ подняться изъ лѣса вверхъ и не могъ,—зажала топь.

Да и не стоило подыматься вверхъ, неподвижно торчали тамъ плотно вбитыя въ синеву сѣрыя тучи, вездѣ ровныя, какъ хорошо сработанный войлокъ, и точили дождь днемъ, вечеромъ, утромъ,—всегда одинаковый, мелкій, холодный и острый, какъ желѣзные гвозди.

Ночью встали густые бѣлые туманы. Они выползали по ночамъ изъ лѣсныхъ болотъ, какъ изъ глубокихъ ямъ, сплетались гибкими руками и цѣпенѣли.

И подъ тройной оградой—занавѣсокъ, тумана и тучъ—темно было въ Бердоносовскомъ домѣ, какъ въ сѣняхъ пазахъ Агафьи.

IX

Къ Бердоносову, когда онъ былъ въ лѣсу, пріѣзжалъ иногда маленькій жилистый старичокъ Георгъ, мелкій хозяинъ скорнякъ изъ сосѣдняго трактоваго села, Нижняго Телелюя.

Георгомъ назвалъ себя онъ самъ,—фамилія его была Егоровъ. Звали его Андрей Спиридоновичъ, но онъ сдѣлалъ изъ этого Азъ Слово. Давно, лѣтъ тридцать назадъ, онъ пролежалъ три дня въ летаргіи и съ тѣхъ поръ сталъ считать себя новымъ Христомъ, призваннымъ спасти людей.

Онъ придумывалъ заговоры отъ болѣзней, писалъ ихъ на бумажкахъ, подписывалъ «Императоръ всей вселенной, Азъ Слово Георгъ» и давалъ глотать.

Цѣлые дни былъ чѣмъ-то занятъ: читалъ толстыя старыя книги, сочинялъ стихи, говорилъ о новыхъ шестнадцати заповѣдяхъ, въ которыхъ онъ помѣститъ всѣ законы и прибьетъ для общаго свѣдѣнія къ столбамъ на золотыхъ доскахъ, когда придетъ часъ его славы.

И въ него вѣрили. Разъ онъ назначилъ день, когда къ нему на поклонъ должны были съѣхаться всѣ цари и князья земли. Наканунѣ жена его Епистимія вымыла начисто полъ въ избѣ, посыпала крыльцо песочкомъ, убрала елками, надѣла серебряныя серьги съ розовыми камнями,—самъ онъ ходилъ въ длинномъ новомъ сюртукѣ и въ глаженой рубахѣ. Ничего не ѣли и ждали цѣлый день до поздней ночи. И скорняки не работали въ своемъ сараѣ,

хотя день былъ будній, — сидѣли на кожахъ и пили водку.

Цари не явились.

И, мечтая о реформахъ и законахъ въ своемъ огромномъ царствѣ, Георгъ искусно подбиралъ мѣха, хорошо зналъ скорнячество и могъ бы поставить дѣло на широкую ногу, если бы хотѣлъ.

Въ небольшомъ и старомъ тѣлѣ жила молодая несокрушимая сила, не знающая ни устали, ни лѣни, и походка его была бойкая, летучая даже въ тяжелой зимней шубѣ.

За окнами хлопьями падалъ снѣгъ, приставалъ къ стекламъ и смотрѣлъ пушистый, бѣлый на черномъ, какъ возлѣ ярко начищеннаго самовара сидѣли Бердоносовъ и Георгъ,—одинъ широкій, чуть улыбающійся, съ ободкомъ сѣдыхъ кудерокъ на лысой головѣ, другой узкій, серьезный, съ пожаромъ въ черныхъ глазахъ, не потерявшій ни одного волоса въ шестьдесятъ лѣтъ и сохранившій видъ браваго игрушечнаго солдата по своей привычкѣ держаться прямо.

— Мной будетъ извлеченъ золотой и серебряный телецъ изъ церкви, — четко говорилъ Георгъ.—Евангеліе учитъ бѣдности... Откудова, спрашивается, взялся телецъ?.. Отцу Ефиму недавно говорю на бесѣдѣ: «Уступи мнѣ мѣсто!»

Уступилъ, смѣется: «Ты еретикъ, но я тебя не боюсь...» Хорошо.

Я взошелъ и началъ:—хотя, отецъ Ефимъ, вы здѣсь собрали для слушанія слова религіозненнаго, но въ тайну религіи вы не посвящены. Вы сами, священники, говорю ему, не имѣете того огня, которымъ жечь надо беззаконія... Многіе изъ васъ тянутся на небеса, но сваливаются съ колеса, подъ вашей черной мантіей самъ чертъ скрывается... А небо у васъ въ карманѣ сидитъ, по гривеннику за мѣсто продается. Вы, какъ столбы придорожные, только дорогу людямъ кажете, а сами по ней не идете... Вы — тлѣнъ. Но часъ мой придетъ... Это ничего не значитъ, что я

неученъ и необразованъ: я получилъ тайное образованіе, высшее!..

И подымался возбужденный:

Хотя я неизвѣстенъ,
Но въ свѣтѣ буду мечъ,
Изустною стрѣлою
Злобу буду жечь.
И я,
Какъ Илія,
Вознесусь на небеса
Въ вихрѣ, на огненной колесницѣ
Къ небесной Царицѣ!
Тогда взовьюсь я на крыльяхъ
Огненныхъ коней,
И вознесусь я сыномъ
Народнаго Отца,
И болѣе не будетъ
Онаго конца...
Я не призракъ и не тѣнь,
Но прекратитель злобныхъ дней,
Моментальный мой сводъ,
Не понимаетъ весь народъ,
Съ прискорбьемъ на меня взираетъ,
До дня сего не понимаетъ...

Голосъ у него былъ металлическаго тембра и страшно сильный для его груди; онъ не говорилъ, а ковалъ слова, — каждый звукъ отдѣльно выпукло ложился рядомъ съ сосѣдними, какъ орнаментъ на старинной бронзѣ. И сами слова были цвѣта бронзы, позеленѣвшей отъ времени.

А въ то время, когда Георгъ вкладывалъ всего себя въ эти слова и не замѣчалъ, казалось, ни желтыхъ стѣнъ, ни черной ночи за окнами, Бердоносовъ криво улыбался изъ-подъ рѣдкихъ усовъ и шумно дулъ на блюдечко.

— А отецъ Ефимъ что?

Ефимъ? — спрашивалъ недовольно, вспоминая, Георгъ. Что передо мною Ефимъ? Прахъ!.. Дуну, и

нѣтъ Ефима. Враговъ предстоитъ много, только они не въ этомъ образѣ. Многіе люди ко мнѣ приходили, я слышалъ, у самыхъ дверей стояли, но злой духъ отгонялъ ихъ...

Злой духъ, онъ вездѣ... А у человѣка онъ возлѣ губъ, губы кривитъ. Злой духъ, онъ не скорбитъ и не плачетъ, онъ смѣется. Дано ему Богомъ такую личину носить, онъ ее и носитъ безпрекословно. Смѣяться не надъ чѣмъ, а онъ смѣется, хотя насильно... Такое ему наказаніе за гордость ума дано: ходи и смѣйся. Отчего, напримѣръ, ни одно животное— ни корова, ни лошадь, ни собака, ни одно не смѣется?

Оттого, что безгрѣшно, дьявола въ немъ нѣтъ, вотъ отчего не смѣется. А плакать—плачетъ.

И вдругъ перебивалъ себя.

— Было мнѣ неочередное видѣніе: комета съ двумя хвостами;—значитъ, будетъ война между двумя народами... Но когда я вступлю, войны не будетъ. И войска не будетъ. Зачѣмъ нужно войско, когда законы всѣми будутъ исполняться — 16 статей у всѣхъ на глазахъ?

Никто не смѣетъ сказать: я не знаю: читай! А чтобы между народами война, — такъ народовъ-то тогда никакихъ не будетъ: всѣ подъ одной властью и однимъ языкомъ будутъ говорить,—какая же война?.. Да и войска не будетъ. Можно будетъ, конечно, собрать всякихъ негодящихъ людей, чтобы не пропадали даромъ, дать имъ красные кушаки, прицѣпить медали для потѣхи и пускай себѣ солдатами ходятъ. Такъ, смѣха ради.

— Конечно... Высокое лицо, что ни сдѣлаетъ, все хорошо,—вставлялъ Бердоносовъ.

Георгъ замѣчалъ насмѣшку, но это его только окрыляло:

— Прибыли финансовыя будутъ приведены въ извѣстность,—звучно ковалъ онъ.—Установлена будетъ такая сумма, меньше которой ни у кого не должно быть, а у кого недостаетъ, тому отъ казны пособіе:

[illegible] будет [illegible] в [illegible]. Вашу взять или украть — [illegible]... Брюки будут учреждаться [illegible] в [illegible] — [illegible] — [illegible], могут быть [illegible] — [illegible] [illegible] и [illegible] — [illegible], других [illegible]...

И вдруг вспомнилось что-то.

— Нимфея [illegible] Сергеевна, [illegible] верзилы [illegible], [illegible] [illegible] и [illegible] [illegible] встать и говорит:

Никольку ты [illegible] и [illegible]

Никольку же ты [illegible] и [illegible]

Съесть и [illegible]. А их никого не боюсь. Сказать, и быть по сему. Аз Слово Господь.

Вылез из [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], и [illegible] в [illegible] [illegible], по [illegible] Зеркальчик [illegible] в [illegible], что говорил этот маленький сухой старичок с большим узким [illegible].

Но за дверью, [illegible] прикрытой, [illegible] и [illegible] Антонина, и как [illegible] [illegible] быть, как ветер в [illegible] [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible] листья и [illegible] [illegible] на [illegible] [illegible] на [illegible] у [illegible], на [illegible] [illegible] болотце. И тишина, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], и [illegible], [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] в [illegible] [illegible], и [illegible], что [illegible] [illegible], и [illegible], как [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] в [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

воспокаетеся, спущу на васъ каменія горячіе и воду кипящую. Есть ли воспокаетесь, дамъ вамъ дожжа и теплоты солнечной во время плодовъ земныхъ, наживется всякаго изобилія больше прежнихъ лѣтъ. Есть ли не воспокаетесь, спущу на васъ птицы черныя, носы желѣзные, головы у нихъ львовы и волосы женскіе, и поѣдятъ плоть вашу и сердца ваши. Небо и земля мимо идутъ, но словеса Мои мимо не прейдутъ. Уже вамъ, окаяннымъ, многія времена и лѣта были, и дни ваши скончаваются, престолъ Господенъ поставляется, судебныя книги раскрываются, и всѣ дѣла ваши обличаются. Азъ есмь Господь вашъ Исусъ Христосъ, приду судить живыхъ и мертвыхъ и воздамъ коемуждо по дѣломъ его...»

Да!.. Вонъ оно какъ,—останавливаясь и протирая уставшіе глаза, шумно вздыхалъ Бердоносовъ. — Одначе листки по угламъ попортились, подклеить надо.

— Плѣсень! Тлѣнъ! — махалъ руками Георгъ, и лицо его дѣлалось свирѣпымъ и насмѣшливымъ.— Стопудовый камень въ землю угрязъ, а вывезти некому! Огненные кони вывезутъ. Не иначе. Только они могутъ, а больше никакихъ средствъ нѣтъ. Но запрячь ихъ нужно, коней!

Онъ выставлялъ впередъ сухой палецъ, и палецъ казался страшно тонкимъ и длиннымъ, точно указывалъ въ безконечность.

— Это я ихъ запрягу, потому что мнѣ дана сила...— добавлялъ онъ, торжествуя. - Всей вселенной императоръ, Азъ Слово Георгъ!.. И титула-то такого не было, никто не слыхалъ. Я его первый увидѣлъ на облакахъ ночью и въ слова вложилъ,—значитъ, это я самый и есть: Азъ Слово Георгъ!

Шли какія-то страшныя тѣни, сѣдыя съ кивающими головами, шерстились, и шерсть была собачья, висѣла клочьями. Выходили изъ темноты медленно и осторожно и въ темноту уходили. Глаза у нихъ были незрячіе, мутные, какъ у молодыхъ щенятъ, и чуть болтались безсильныя руки, кости круглились подъ

кожей. Много ихъ шло, и отъ нихъ было душно. А сзади [illegible] на огненныхъ коняхъ гремѣлъ и мчался, давилъ и гналъ ихъ маленькій старикъ съ развѣвающимися волосами и съ сумасшедшимъ блескомъ въ глазахъ.

Около него летѣли бѣлые ангелы и трубили въ длинныя трубы. Звуки не оглушали, а капали какъ крупный дождь изъ влажныхъ искръ: горѣли сами, но не жгли, падали и свѣтились. И чудилось Антонинѣ, что тамъ еще дальше, гдѣ уже нѣтъ никого, гдѣ уже свѣтло и радостно, тамъ мрѣютъ въ небѣ пахучія почки, шуршатъ сухолистомъ ежи, поютъ птицы...

— Собесѣдованье у насъ было веселое,—говорилъ Бердоносовъ,—ну, конечно, миссіонеръ пріѣзжалъ, достойные собрались. Откуда, спрашиваютъ, благодать въ вашей церкви?—Отъ Амвросія епископа.—А Амвросія кто поставлялъ?—Священники, ужъ извѣстно.—Они какъ зарегочутъ. Ахъ, волки васъ ѣшь! Вы ржать сюда пришли, конюшня вамъ здѣсь?..—«Учителя высокомудрые! говорю, — вы писаніе знаете, можно сказать, какъ свои рубахи, объясните мнѣ темному:—тотъ осленокъ, на которомъ Исусъ Христосъ въ Іерусалимъ въѣзжалъ, оселъ былъ или ослица? То есть, полу онъ былъ какого?... Вотъ какую загвоздку ихъ задалъ, хе-хе-хе-хе! Смѣху сколько было, страсть! Жирно, молъ, вамъ по цѣлому таракану, будетъ и по ножкѣ...

На кухнѣ ворочалась на печи старая бабка Агафья, чесалась и сопѣла.

— Что-то мнѣ, бабоньки, не спится? Все объ чемъ-то думается, объ чемъ-то думается... А объ чемъ мнѣ теперь думать?.. Будто я корову въ поле гоню, [illegible] лѣсомъ и тутъ сосна, а по соснѣ-то [illegible] хвостомъ прикрывается, а хвостъ у [illegible] пушистый, пренушистый... Обернулась ко мнѣ,— [illegible], явственно такъ...

— Все отъ жизни отъ хорошей,—бурчитъ ей въ отвѣтъ Александра. Сама она сидитъ около лампы и смотритъ прямо въ бѣлый огонь, не мигая.

Тиша спитъ на полу спокойно и беззвучно, какъ спятъ животныя.

Антонина стоитъ, прислонившись къ двери, и глаза у нея далекіе, свѣтлые и дерзкіе, какъ два фонаря поѣзда въ черную ночь.

X

Застыла лѣсная топь въ ноябрѣ. Легъ между черныхъ омертвѣвшихъ стволовъ кто-то длинный, изгибистый, широкій, легъ ничкомъ, сложивъ на темени руки, укрылся пухлымъ полотнищемъ снѣга и уснулъ.

Тамъ гдѣ-то внизу глубоко, робко бились ключи, живые, но глухіе, чуть слышные; слишкомъ толстый и крѣпкій выросъ надъ ними ледъ и придавилъ ихъ вплотную къ земнымъ нѣдрамъ.

Голые сучья и вѣтки раскинулись надъ ними сквозные, какъ паучья сѣть, и въ просвѣты этой сѣти глянуло сверху внизъ холодное небо.

Отъ мороза крякало въ лѣсу столѣтнее дубье, хлопало рукавицами и дуло на иззябшіе пальцы; поднялась поземка, бѣлая, какъ плещущій саванъ, и закружилась лѣниво по дорогѣ, стирая черныя тѣни съ деревьевъ и яркія пятна съ земли.

Было что-то нудное въ этой поземкѣ. Она переплескивала съ сугроба на сугробъ на дворѣ лѣсопилки, ползала вдоль сараевъ; въ ней купались, какъ въ снятомъ молокѣ, склады досокъ, и плавали сѣрыя кучки рабочихъ.

Былъ праздникъ; захлебывалась, пронизывая снѣгъ, гармоника, за ней гонялся низкій простуженный, тоже глотающій морозную мглу голосъ.

Антонина сидѣла около окна, вбирала въ себя безпокойныя складки сугробовъ и думала, что вотъ теперь она будетъ работать на Дениса все время, пока

пріѣдетъ со службы Максимъ, потомъ будетъ работать на Максима все время до самой смерти, а Максимъ будетъ дышать на нее по ночамъ перегаромъ водки.

Недавно пріѣхалъ Денисъ и взялъ у Бердоносова ея деньги; ей же привезъ письмо отъ Максима; въ письмѣ онъ кланялся ей «отъ бѣлаго лица и до сырой земли», просилъ себя соблюдать и слушаться Дениса. Служилъ онъ гдѣ-то далеко на «тепломъ морѣ».

Теперь Антонинѣ вспомнилось его плоское желтое лицо, мутные глаза и косицы волосъ надъ глазами и тотъ особенный кивокъ головы, которымъ онъ взбрасывалъ назадъ эти косицы, когда крестился передъ сномъ.

Все было ненавистное и чужое. Вспомнились душные конопляники, темные углы риги, фырканье лошади по ночамъ, плачъ ребенка...

У невѣстки теперь былъ тоже ребенокъ, мальчикъ, а Филька сталъ сухорукимъ,—лѣвая рука онѣмѣла отъ оглобли пантеревцевъ и висѣла, какъ полѣно.

Мерещились огромные отцовскіе лапти и переплетъ веревочныхъ оборокъ на холстѣ онучъ; потомъ рыжая борода во всю грудь и сонные глаза подъ тяжелыми вѣками. Онъ оправился теперь, только сталъ кашлять, какъ перегруженный возъ, и болѣло въ правомъ боку ниже реберъ.

Охватили недомолвки прошлаго, вились кругомъ, какъ хлопья снѣга, гасли, гинули, опять кружились. Кто-то, свѣсившись, силился что-то сказать, можетъ быть, и говорилъ, но невнятно, и нельзя было разслышать и понять.

И потому тяжело было, какъ бываетъ тяжело въ темномъ погребѣ, гдѣ чуть тлѣютъ отъ зимней сырости свѣчи.

Смеркалось. Изсиня-дымный сталъ лѣсъ, и выше поднялась метель.

Комнаты въ домѣ стояли тихія, и отъ тишины сумерки въ нихъ казались гуще.

Бердоносова не было. Слабоумный ушелъ куда-то; Александра, наряженная для праздника въ темное шерстяное платье, о чемъ-то думала въ другой комнатѣ, у другого окна; слѣпая бабка одна говорила на кухнѣ о семи серафимахъ, которыхъ она видѣла ясно до послѣдняго перышка въ крыльяхъ, о райскихъ вратахъ и бѣшеномъ быкѣ, который ей снился.

Въ этотъ вечеръ неожиданно пріѣхалъ младшій сынъ Бердоносова, Фролъ. О немъ не говорили въ домѣ, и Антонина послѣ узнала, что онъ ушелъ учиться противъ воли отца, и отецъ отъ него отрекся.

Фролъ вошелъ въ домъ, широкій въ плечахъ, съ головой, закутанной въ башлыкъ, легкой звѣриной походкой: здѣсь въ лѣсу никто не ходилъ такъ,—ходили тише. Мужикъ въ тулупѣ тащилъ за нимъ чемоданъ и узелъ.

—Господи Исусе!—всплеснула руками Александра, какъ молодая, выбѣжала навстрѣчу; въ дверяхъ долго не могла найти скобки отъ слезъ и радостной дрожи.

У Фрола было худое, острое книзу, большелобое лицо, съ такимъ же, какъ у отца, крылатымъ носомъ и насмѣшливыми сѣрыми глазами, знающими себѣ цѣну.

Не хватало нѣсколькихъ пуговицъ на шинели; сухія широкія руки, развязавъ башлыкъ, привычнымъ движеніемъ метнулись по ней сверху внизъ, и распахнулись полы; фигура Фрола сразу приросла къ землѣ и стала еще шире и прочнѣе.

Александра всхлипывала, цѣлуя его въ мокрыя губы, бормотала что-то—нельзя было понять,—растерявшаяся бабка Агафья, по дѣтски, пугливо щупая его холодный рукавъ, и толпились любопытные люди въ дверяхъ, сплошные отъ сумерокъ.

— Это все не фактъ, вотъ фактъ: въ узилищѣ годъ просидѣлъ и живъ остался! Слава всѣмъ святымъ, на облацѣхъ летающимъ, такъ, бабка?—шутилъ,

усмѣхаясь, Фролъ. Усмѣшка была кривая, какъ у отца, а голосъ звучный, чуть прихваченный морозомъ. Слова вылетали изъ него пѣвучія, плотно сцѣпившіяся, гибкія, но его самого не было въ словахъ.

«Умный», подумала Антонина, хотя не поняла надъ чѣмъ онъ шутитъ. Она послѣ узнала, что его годъ держали въ тюрьмѣ за то, что онъ говорилъ гдѣ-то не тѣми словами, которыя были дозволены; но теперь противъ воли она вся приковалась къ его усмѣшкѣ, къ его большому лбу, расплывавшемуся свѣтлымъ пятномъ въ сѣрыхъ сумеркахъ и къ веселымъ глазамъ, свѣтящимся исподлобья.

Онъ раздѣлся и сыпалъ шутками; онѣ отскакивали отъ него, какъ клочья сырой земли съ ободьевъ колеса, а онъ былъ нетронутымъ гдѣ-то внутри ихъ, въ серединѣ, какъ камень подъ водой.

«Умный»,—молитвенно думала о немъ Антонина.

Зажгли лампы. Спустили занавѣски. Комнаты, желтыя отъ стѣнъ, стали прозрачнѣе и любопытнѣй.

Фролъ остался въ одной красной рубахѣ, кѣмъ-то вышитой вдоль ворота. Антонина незамѣтно для себя думала — «кѣмъ», когда ставила пузатый самоваръ на кухнѣ.

XI

— Что, Фролъ Матвѣичъ, хотѣла я у васъ спросить,—не знаю, можно ли?... грѣхъ... онъ есть, али нѣтъ его вовсе?

Это было черезъ два дня, когда она принесла въ его комнату, на верхнемъ этажѣ, беремя холодныхъ березовыхъ дровъ топить печку.

Въ комнатѣ затянуло окна, и видно было, какъ изо рта шелъ бѣлый паръ, и какъ посинѣли пальцы у сидѣвшаго за книгой Фрола. Въ чемоданѣ и узлѣ были книги; теперь онѣ грудами лежали на столѣ, на подоконникѣ, на стульяхъ, и отъ нихъ въ комнатѣ стало осмысленнѣй и тѣснѣе.

— Грѣхъ?—Фролъ повернулъ къ ней лицо съ любопытными вздернутыми бровями, осмотрѣлъ ее всю сплошь, точно рукой провелъ, и весело скривилъ губы: — Былъ грѣхъ, да весь вышелъ.

Помолчалъ и добавилъ вдругъ скороговоркой:

— Грѣхъ! Ну, на что тебѣ грѣхъ? Живешь,— и живи. Тоже нашла о чемъ думать: грѣхъ!

Антонина увидѣла, какое скучное и брезгливое стало у него лицо, точно онъ раздавилъ таракана.

— Я ничего, я такъ,—испугалась она. Звякнула подъ ея пальцами печная дверца, застучали полѣна; она старалась ихъ класть какъ можно тише, но руки дрожали и бросали ихъ не такъ, какъ ей хотѣлось.

— Ты откуда сама?—спросилъ Фролъ.

— Я-то? Милюковская... Изъ села изъ Милюкова. Пожаръ у насъ лѣтомъ былъ, разбрелись кто куда... А я вотъ сюда пришла въ услуженіе... Полсела сгорѣло...

Зажгла лучину, повернула ее огнемъ внизъ, чтобы загорѣлась, и добавила, вдыхая смолистый дымъ.

— Ребенокъ у меня былъ, дѣвочка... какъ въ избѣ въ люлькѣ лежала, такъ и сгорѣла... косточекъ не осталось... Теперь она куда дѣлась, а?

Лицо ея стало строгимъ и выпуклымъ.

— Вознеслась въ дыму и огнѣ, аки голубица передъ престолъ Всевышняго... — криво усмѣхнулся Фролъ и брезгливо заговорилъ вдругъ, какъ давно надоѣвшее:

— Но престола Всевышняго нѣтъ, и никто не возносится... Всѣ на землѣ, изъ земли и въ землю. Земля еси и въ землю отыдеши, — это, баба, вѣрно сказано... Грѣха нѣтъ. Смысла тоже никакого нѣтъ... Солнце грѣетъ, вотъ и смыслъ. Чѣмъ меньше свободнаго времени, тѣмъ спокойнѣй: мыслей не лѣзетъ. Мысли, баба,—это безсонница,—дѣло вредное и лишнее; поломомъ ихъ отъ себя гони. Хребтомъ больше думай, проживешь дольше. Я вотъ въ острогѣ сидѣлъ, одиночкой... Никого со мной другого не было:

я да мысли. Ну и опротивѣли же онѣ мнѣ, эти мысли. Не дай Богъ!... вредное дѣло! Главное, что ихъ отпущено человѣку больше, чѣмъ нужно, его отъ нихъ и пучитъ... Богъ, да Богъ! Подумаешь, простая штука какая. Выдумалъ райскія ворота, и готово. И пожалуйте къ Боженькѣ въ гости. Нѣтъ, ты тысячу лѣтъ проживи и впередъ иди, все время не отдыхая, тогда, можетъ, тебѣ Божій коготь покажется... одинъ коготокъ, и то въ свѣтломъ видѣніи... Эхъ ты, баба, — гнѣздо сомнѣній!... — Онъ опять усмѣхнулся. — Ребенокъ сгорѣлъ, скажите, пожалуйста, фокусъ какой! Что она, желѣзная была, что ли? Молочко пила, вотъ и сгорѣла. Все, что питалось, то и сгоритъ... Дрова вонъ тоже въ свое время коечто кушали,—кивнулъ онъ на печь.

Лицо Антонины все влилося въ глаза, отчего они стали круглыми и неподвижными. Она сидѣла на полу у печки, и пламя вспыхивало на ея бѣлкахъ, какъ прихлынувшая мысль.

— То дрова, а то человѣкъ... по Божьему образу.. и душа у него есть,—съ усиліемъ сказала она не то, что думала, и тутъ же вспомнила Зайцева, у котораго Божій образъ съѣла болѣзнь.

— Человѣкъ... человѣкъ... — мотнулъ головою Фролъ. — Ты сначала дослужись до человѣка, послужи у разума на службѣ; человѣкъ,—это чинъ... и выше всѣхъ чиновъ ангельскихъ. Душу-то живую, ее заработать надо, она за особыя заслуги дается... это не гильдія. Милліоны тѣлъ,—одна душа... А ты думала какъ?... дешево цѣнишь! Душа, баба, это молнія: блеснула гдѣ-то, ты идешь темной ночью и видишь кругомъ и думаешь, что отъ тебя свѣтъ... а другой на встрѣчу идетъ и тоже видитъ, и думаетъ, что отъ него свѣтъ, а потемнѣла молнія, и опять темень, и вы столкнулись лбами, но не дали искры... Потому что душа-то въ васъ нѣтъ, и неоткуда взяться искрѣ. Поняла, баба? — Онъ помолчалъ и добавилъ: — Мнѣ такъ видно, а у другого, можетъ, и словъ

такихъ нѣтъ въ языкѣ, давно забросилъ, это у того, кто Божій коготь видитъ. Вѣдь люди, они воронкой идутъ, какъ журавли летятъ, только съ низовъ кверху. На такихъ, какъ ты, Вавилонъ строятъ, вбиваютъ васъ въ землю, какъ сваи, и фундаментъ изъ васъ кладутъ... Прочно выходитъ! Фролъ усмѣхнулся. Народъ вы терпѣливый, желудки у васъ крѣпкіе,—чай пьете въ приглядку и живы бываете. Чего вамъ больше? А мысли,—это не ваша печаль. Отъ мыслей головы болятъ и посильнѣе вашихъ... Такъ то, душа!

Онъ поднялся, прошелся по комнатѣ, потирая руки, и сѣлъ къ печкѣ рядомъ съ нею.

И тутъ, вытянувъ къ огню длинные пальцы, въ первый разъ замѣтилъ онъ, что у Антонины красивое бѣлое лицо и тонкія руки.

И не могъ онъ объяснить себѣ, почему захотѣлось вдругъ говорить еще о чемъ-то, говорить долго, понятно и убѣдительно, чтобы тамъ, подъ склоненнымъ черепомъ, подъ этимъ бѣлымъ съ черными цвѣточками, по-монашески подвязаннымъ платкомъ, зашевелилась и выросла отвѣтная мысль.

— Маленькій огонекъ въ печкѣ-то, а онъ грѣетъ... такъ-то, душа... вотъ и свѣтитъ и грѣетъ,—путаясь началъ онъ.—Думать—не грѣхъ, грѣхъ—не думать. А если надъ чѣмъ, какъ проклятый, думаешь,—все равно, что Богу свѣчку ставишь и псалмы поешь. Будь это и малая мысль, все равно, малая мысль—малый огонь, а все огонь. И свѣтитъ, и грѣетъ. Важно, чтобъ не закоченѣлъ человѣкъ, чтобы не перъ по канавамъ, когда дорога въ пяти шагахъ, а есть въ немъ теплоты на копейку, значитъ, и живъ человѣкъ.

Онъ остановился, потеръ руки, посмотрѣлъ на кончикъ свисшаго надъ ея лбомъ платка.

— Не то я все говорю,—удивился самъ себѣ онъ и пожалъ плечами.

— А [illegible] что и нужно... только [illegible] у [illegible] въ Милюковѣ лѣ[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]шись.

— [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] она и подняла брови.

— Грустно?—[illegible] улыбнулся.

— Грустно... [illegible] [illegible] [illegible] здѣсь... Одни вѣль лѣса—посмотрѣла она, не понимая.

— И тоже такая?

— И тоже такая.

— Эхъ ты, лѣсовушка,—нагнулся онъ къ ней, широколобый и красный отъ пламени печи, и рубаха его горѣла въ мелкихъ складкахъ на воротѣ и сгибѣ локтя.

Глаза у него были горячіе, близкіе, понятные и ясные ей до самаго дна, какъ вода въ лѣсномъ ручьѣ, у подмытыхъ висячихъ корней надъ желтымъ пескомъ и мелкими голышами.

XII

Они сошлись просто, какъ сходятся звѣри одной породы, когда испаряется невидная лѣсная тишь и обволакиваетъ одинаковой мрѣющей сѣткой и никлые лиловые колокольчики, и изразцы зеленаго свода, пронизанные лучами, и жуть задумавшихся черныхъ болотъ.

Антонина не знала, что это замолчало въ ней скребущее, какъ голодная мышь въ темнотѣ, но была рада яснымъ смѣшливымъ глазамъ, звучному увѣренному голосу, знающему лбу и тому, какъ брезгливо говорилъ онъ обо всемъ, что ее пугало.

Для него не было ада, не было чуда, не было грѣха, и она видѣла, что онъ веселый и сильный, и весь свѣтлый, какъ тотъ огонь, который сожралъ Милюкова; все то, что у нея ярко, у него забывчиво, думаетъ, но не о томъ, а о другомъ...

— О чемъ?—спросила разъ Антонина.

— О чемъ?—переспросилъ онъ.

Была ночь, холодная снаружи,—стѣны стрѣляли въ комнаты, точно морозъ заряжалъ ихъ отъ скуки, слоняясь безъ пріюта и дѣла, и отъ неожиданнаго треска вздрагивала Антонина, и вздрагивало узенькое пламя надъ оплывшимъ огаркомъ около кровати:

— Просто о томъ, какъ бы поумнѣе на свѣтѣ прожить... Жизнь одинъ разъ дается, умремъ—и свѣту капутъ. Вотъ, значитъ, и цѣди изъ бутылки, да посматривай, куда цѣдишь, и стоитъ ли цѣдить,—не было бы жаль потомъ. Нужно такъ, чтобы не ты былъ въ рукахъ у жизни, а жизнь въ рукахъ у тебя, чтобы не жизнь тебѣ часы отбивала, а ты бы ей минуты отсчитывалъ... Вотъ взялъ бы ее такъ между колѣнами—(Фролъ крѣпко сдавилъ ноги и скрипнулъ зубами) ага, окаянная! Посиди, я на тебя погляжу!.. Только она не дается, она—большой звѣрь,—руками не обхватишь... И когтей у нея много—Божьи когти!—придавитъ однимъ коготкомъ за шею, и иди, человѣче, кормить червей... Въ ступку къ стихіямъ! Изъ величайшаго чуда на землѣ, человѣчьяго мозга, глядишь, опенки выросли... И пойдетъ круговоротъ всякой дребедени включительно до дорожной пыли... Слѣпота! Значитъ, жизнь — охота. Можно прямо идти—иди, нужно на карачкахъ ползать,—ползай, подкараулилъ—бей,—только и всего, всѣ десять заповѣдей... Дѣлай, какъ тебѣ выгоднѣй, но цѣдя изъ бутылки, почаще смотри на дно. Показалось дно, ложись и думай о червяхъ: вы меня съѣдите, это вѣрно, но и я въ жизни много кой-чего съѣлъ! Всю жизнь пряталъ отъ другихъ свой желудокъ, рядилъ его въ рясы изъ звонкихъ словъ, обкладывалъ его лисьими хвостами пріятныхъ улыбокъ, и ѣлъ, ѣлъ, жадно, но... красиво,—чортъ васъ возьми совсѣмъ, черви, а, главное, со вкусомъ!.. Вырѣзалъ изъ жизни цѣльные куски и ѣлъ, вбиралъ, какъ губка, благовонные соки и пилъ... Не творилъ, потому что на землѣ никто не творитъ, только переставляетъ съ мѣста на

мѣсто, какъ комнатную мебель, а суть все та же, что при Адамѣ... Не творилъ, но переставлялъ, и, по моему, безподобно. Нѣтъ въ жизни правды,—все правды. Или нѣтъ и правды правды,—все слѣпота. Правду воры придумали для своей защиты. Человѣкъ только и бываетъ самимъ собою, когда изъ себя выходитъ... когда онъ звѣрь просвѣщенный,—а правда—это уступка Петру и Степану, чтобы они ночью двора не спалили. Чѣмъ отъ нихъ спасешься, кромѣ «правды»?.. Богъ, этотъ простенькій, дешевый житейскій Богъ, обитающій въ каждой деревушкѣ, тотъ, что все видитъ и всегда нѣмъ, онъ тоже нуженъ, онъ тоже у воровъ на побѣгушкахъ: призываютъ его въ свидѣтели, когда хотятъ украсть, и мажутъ ему губы сметаной, когда удачно украдутъ. Вообще, когда люди хотятъ сдѣлать мерзость, то ищутъ сообщниковъ: таковъ ужъ законъ общежитія. А то, что называется грѣхомъ, это только неузаконенная большинствомъ мерзость,.. Понимаешь, баба?..

Антонина не понимала, но чувствовала, что и онъ отъ чего-то страдаетъ, отъ того, надъ чѣмъ думаетъ и чего не можетъ понять, и ей становилось его жаль; онъ, большой, казался ей маленькимъ, какъ слѣпой щенокъ передъ холодной ночью; она грѣла его ласками и забывала о ночи за окномъ.

Но стояла ночь, потому что горѣлъ огарокъ, и чернѣли окна, и скучающій отъ бездѣлья морозъ стрѣлялъ въ комнаты черезъ стѣны, напоминая о стужѣ.

— Я вотъ отца своего ненавижу,—съ жесткимъ лицомъ говорилъ Фролъ.—Кажется, никого больше, кромѣ него. Другихъ я терплю,—его ненавижу. Я понимаю умнаго волка, но это волкъ безсмысленный,—жретъ неизвѣстно зачѣмъ. Это онъ моего брата за непокорность въ одномъ бѣльѣ въ такой вотъ холодъ изъ дому выгналъ. Бѣдный малый простудился, конечно, зачахъ, умеръ... Это онъ мою сестру за богатаго мерзавца замужъ выдалъ. Сестра плакала и въ ногахъ валялась, просила, какъ милости, въ мона-

стырь отдать... Не пощадилъ! У меня и сейчасъ ея ревъ въ ушахъ стоитъ... А тотъ негодяй началъ ее бить на другой день послѣ свадьбы. Изъ Тихона кто дурака сдѣлалъ?—Онъ! Говорила мать,—долбанулъ его чѣмъ-то въ голову, когда Тихонъ еще дѣтенышемъ былъ и безъ штанишекъ бѣгалъ. Я учиться хотѣлъ... Куда! Умнѣй отца хочешь быть?... Денегъ не далъ. Ушелъ безъ денегъ... Девяносто процентовъ жизни на желудокъ ушло. Ночи знаютъ, да вотъ эта знаетъ,—ударилъ онъ себя по головѣ...—По утрамъ, бывало, всѣ иконы въ домѣ перецѣлуетъ, накрестится, накланяется и идетъ на цѣлый день рабочихъ мозжить... Строитель жизни!...

— Зачѣмъ же ты сюда пріѣхалъ?—спросила Антонина.—Вѣдь ты къ нему же въ домъ пріѣхалъ? Это его домъ?

— Это его домъ,—согласился Фролъ.—Но въ этомъ домѣ у меня еще мать есть, баба забитая и совсѣмъ не умная, а ее все таки жаль... Есть бабка,—теперь вотъ она ослѣпла,—помню ее зрячей, а кругомъ лѣсъ, въ лѣсу я выросъ... Лѣсъ тутъ у меня самый родной изъ всей родни. Онъ меня и няньчилъ и сказки говорилъ... Можетъ быть, мнѣ вовсе никого не жаль, и я больше къ нему пріѣхалъ, не знаю... Выпустили меня, я и поѣхалъ... Впрочемъ, можетъ быть, я съ отцомъ ругаться вздумалъ... Досадно, что зима... Я любилъ, когда въ лѣсу зелено, и птицы поютъ... Люблю, когда жизнь зеленая, когда нѣтъ у нея ни формы, ни цѣли,—только соки бродятъ... Претъ во всѣ стороны этакъ что-то кругомъ—лопухъ ли, чапыжникъ ли,—разбирай, кто хочетъ, не въ этомъ дѣло. Смотри и дыши... Эхъ ты, лѣсовуха!...

Онъ душилъ ее жесткими руками, догоралъ и тухъ огарокъ, и въ комнату сразу со всѣхъ сторонъ, точно спущенная свора черныхъ собакъ, врывалась ночь.

Они долго говорили по ночамъ,—говорилъ онъ, а въ нее его слова падали, какъ дождь въ лѣтнюю

засуху, когда только жадно пьетъ земля корнями засохшихъ травъ и откуда-то буйно лѣзутъ, зеленѣя, новые побѣги, и поетъ надъ ними густой отъ влаги воздухъ... А смысла нѣтъ.

Александра знала и молчала. Она подолгу смотрѣла на Фрола, напряженно хотѣла узнать, кто онъ, и не могла. Когда онъ говорилъ ей объ острогѣ и о томъ, какъ приходилось голодать и подпрыгивать по улицѣ отъ холода въ драной шинели, она плакала, но это было все, что она понимала, дальше онъ былъ чужой и далекій.

Тиша облокачивался руками на столъ, клалъ на нихъ мясистое лѣсное лицо и неподвижно смотрѣлъ на него маленькими темными, какъ спѣлая черника, глазами.

Слѣпая шумно чесалась, зѣвала, ворочалась жирнымъ тѣломъ и трясла головой.

XIII

Старика Бердоносова долго не было, но зато онъ пріѣхалъ съ цѣлымъ обозомъ подводъ за досками и лѣсомъ для склада.

Дорога въ лѣсу укаталась и стала масляно-гладкой; снѣгъ сравнялъ ухабы съ корнями, какъ сравнялъ трясину болотъ съ твердой землей, поблескивалъ и синѣлъ между четкими стволами, залегалъ въ дуплахъ и морщинахъ коры, нависалъ, какъ бѣлый хмѣль, на скрюченныхъ сучьяхъ, задорно глядѣлся въ небо съ самыхъ верхушекъ, но обрывался и падалъ внизъ яркими потоками, и казалось, что его сбрасывалъ кто-то, живущій съ нимъ рядомъ, невидимый для глазъ, но скучающій и холодный.

На дворѣ зашевелились сугробы.

Ихъ чертили закутанные медленно-дѣловитые крикливые люди, и бороздили длинные воза съ заиндевѣвшими мохнатыми лошадьми.

Въ Бердоносовскомъ домѣ гулко зазвучали стѣны и всколыхнули то, что притаилось.

Старикъ еще на дворѣ отъ приказчика узналъ, что пріѣхалъ сынъ, отъ котораго онъ отрекся. Помнилъ, какъ онъ пошелъ одинъ въ короткомъ крытомъ полушубкѣ, свистѣлъ и сбивалъ палкой висячія вѣтки березъ. Стоялъ апрѣль, и листья были свѣтлые и мелкіе, такіе же молодые, какъ онъ.

«Облетитъ», думалъ онъ о сынѣ то же, что о листьяхъ, и мелькала передъ глазами яма, изъ которой выкорчевали дубокъ. Годъ за годомъ продвинулись по узкой лѣсной дорогѣ пять лѣтъ и завалили мусоромъ яму. Старикъ не любилъ, когда Александра или бабка вспоминали о Фролѣ, а теперь увидѣлъ самого Фрола съ тѣмъ же взглядомъ насмѣшливыхъ глазъ исподлобья и въ красной вышитой косовороткѣ, собранной въ складки у пояса.

— При-и-шелъ?—медленно спросилъ старикъ, кровяной отъ холода.

— Пріѣхалъ,—отвѣтилъ Фролъ...—Зачѣмъ ходить зимой? Застыть можно.

Острое книзу лицо передернулось отъ выжидающей усмѣшки.

— Та-акъ... — неопредѣленно выжалъ старикъ, измѣривъ его глазами, и протянулъ руку.—Ну, здравствуй, коли пришелъ.

— Здравствуй,—отвѣтилъ Фролъ, подумалъ и подалъ руку.

— Непочетникомъ былъ, непочетникомъ и остался? Такъ, что ли?—спросилъ старикъ.

— Такъ,—отвѣтилъ Фролъ.—Мѣняться не къ чему. Своей головѣ больше, чѣмъ чужой, вѣрю.

— Ага—съ... Своей?.. Это здорово!..

И онъ вдругъ засмѣялся обиднымъ трескучимъ смѣхомъ.

Онъ раздѣвался при Фролѣ, и Фролъ долго и внимательно смотрѣлъ на этого крѣпкаго старика съ широкой розовой лысиной, такого новаго и прежняго,

какимъ онъ остался въ памяти съ дѣтства со своими зеленоватыми глазами, спрятанными въ зыбкихъ вѣкахъ, какъ торфяная трясина въ бурыхъ отъ осени кустахъ лозы.

Чай пили всѣ вмѣстѣ, и Александра и Антонина. Ползали по всѣмъ, какъ длинные дождевые черви, выжидающіе перекрестные взгляды, слишкомъ внимательные для такой небольшой кучки разныхъ людей. Старикъ потѣлъ отъ горячаго чаю, отдувался, и какъ-то вдоль по блюдечку отъ него отчаливали плотныя увѣренныя слова:

— Въ острогу, говоришь, сидѣлъ? Такъ... За хорошія дѣла въ острогу не сидятъ.

— Будто не сидятъ? — смѣшливо спросилъ Фролъ.—И за вѣру не сидятъ?

— За правую вѣру сидятъ, точно, только у тебя вѣры-то нѣтъ. Богъ въ тебѣ сопрѣлъ, какъ кочерыжка, а замѣсто его теперь вонь одна.

— Это тебѣ такъ кажется, потому что ты старовѣръ. Извѣстно, какая ширина у старовѣра: что старымъ лакомъ крыто, то и свято. Проще куда ужъ, некуда идти. Ты въ старыя книги зарылся, какъ кротъ въ землю, а я въ новыя, только и разница. Ты хотѣлъ жизнь назадъ воротить, да возжи лопнули, жизнь ушла, а ты въ лѣсу застрялъ,—вотъ и вся исторія.

— А ты за жизнью бѣжалъ, да и въ острогъ попалъ?

— Острогомъ не кори, если понять не хочешь. Говоришь, не за вѣру—вотъ именно, за свою вѣру сидѣлъ. За своего Бога, отче... Вѣдь онъ у каждаго свой,—по уму дается. Каковъ умъ, таковъ и Богъ. Богъ растетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, кто его носитъ... Богъ—это тайна, если ты можешь это понять! Съ Богомъ бороться нужно, а не кадить ему, потому что всякая тайна—зло. Бога, твоего старенькаго, беззубаго Бога, выкуривать нужно, какъ лису изъ норы, потому что онъ всю жизнь кругомъ хочетъ затащить въ но-

ру. Жизнь на вольный свѣтъ претъ, а онъ ее на веревку, да въ нору. Можетъ быть, и теплѣе въ норѣ, не знаю, тебѣ лучше знать, да тѣсно тамъ, и смрадъ и темень... Пойми хоть это!

— Понимаю! Я понимаю!—крикнулъ и сжался старикъ.—Я про себя понимаю, про тебя хочу знать. Ты-то кто?

— Почему тебѣ такъ непремѣнно нужно, чтобы я былъ кто-то? Я—никто и не хочу быть никѣмъ. Тебѣ Бога моего найти хочется? Не найдешь;—я его расковалъ и на волю пустилъ... Травку щиплетъ. Что мнѣ не нужно, безъ того я обойдусь. У меня боговъ много, только я имъ пока молиться, если ты хочешь знать, не хочу. У меня смерть—богъ, болѣзнь—богъ, необходимость — богъ, случай — богъ... Надо мною бога нѣтъ, около меня боги... Я для нихъ ничто, какъ трава, которую лапоть топчетъ, но мнѣ-то не хочется быть травой подъ лаптемъ. Все, что сильнѣе и чуднѣе меня, то для меня богъ, а стряхнулъ его съ плечъ, глядь, и нѣтъ одного бога, и легче дышать. Принимайся за другого!

— Такъ ты—язычникъ?—окаменѣло глянулъ на него старикъ.

Фролъ брезгливо усмѣхнулся и устало махнулъ рукой.

— Фу, да и скучная же это штука боговъ считать, точно и впрямь въ капищѣ молиться!... Вотъ ты лѣсъ чистишь, болото сушишь, матеріалъ для постройки готовишь,—дѣло полезное и нужное, и во сто разъ важнѣе твоего лысаго бога. Но ты не строитель жизни, строить будутъ другіе, у которыхъ глаза острѣй.

— Такіе, какъ ты?—сузилъ зеленые глаза Бердоносовъ.

— Такіе, какъ я!—вызывающе бросилъ Фролъ.

— Такіе, какъ ты, подъ заборомъ сгніютъ, подъ заборомъ!—во весь голосъ крикнулъ, подымаясь, старикъ.—У такихъ, какъ ты, корня нѣту! Метлу въ земь

не посодишь,—слышишь? Окамелокъ ты! Метлу не посодишь! Метлой дворъ подметешь, поганое мѣсто подметешь, а не посодишь! Гольтепа несчастная! Ты отца-то, отца-то свого учить пришелъ? Ты построишь?.. Самъ-то добился чего? Ну, говори, говори, кто-ты такой сталъ? Чего добился? Ты у меня кровь изъ нутра выпилъ, змѣенышъ, кровь мою, понялъ? У меня на тебя надежда была, глядѣлъ и думалъ: вотъ онъ—столбъ растетъ! Послѣдышъ, да столбъ! А ты вонъ какъ! Изъ тебя такой столбъ выросъ?.. Гнилой, червями сточенъ?.. Учить пришелъ!.. Гляди,—это онъ насъ учить пришелъ,—вдругъ повернулся онъ къ Александрѣ. Та сидѣла желтая, съ узкимъ длиннымъ испуганнымъ лицомъ, худая, какъ копеечная свѣчка, глаза у нея начинали уже слезиться, виновато, по привычкѣ, и мерцали около рѣсницъ, какъ роса.

— Встань!—крикнулъ на нее старикъ и дернулъ за острое плечо.—Встань! Видишь,—свѣтило возстало, а ты сидишь! Воткнись передъ нимъ, воткнись, немочь слезная, кланяйся земно! Такъ!.. Вотъ такъ!..

Обезумѣвшій, съ заревомъ на лицѣ, онъ обхватилъ правой рукой ея тонкую шею и пригибалъ къ землѣ передъ Фроломъ... Длинное, гибкое въ позвонкахъ тѣло покорно ходило въ его рукѣ, только складки платья безпокойно дрожали.

— Не смѣй! Оставь ее, слышишь,—сейчасъ же оставь!—крикнулъ Фролъ. Притихшей Антонинѣ было видно, какъ у него поблѣднѣло лицо, и выдались скулы.

Старикъ пхнулъ Александру въ бокъ, и она упала, заохавъ и загремѣвъ тяжелымъ стуломъ.

— Звѣрь!—кинулся на него Фролъ.

— Вонъ отсюда!—хрипло встрѣтилъ его старикъ.

У двери они схватились, оба пьяные отъ злобы, какъ два бѣшеныхъ, сорвавшихся съ цѣпей.

— Ты отца? Отца?—изступленно кричалъ старикъ.

— Ты мнѣ не отецъ, ты отрекся,—хрипѣлъ, нападая, Фролъ.—Дѣтей своихъ ты давно сожралъ, а я тебѣ не сынъ, не сынъ, звѣрь! Знай это!..

Бабка съ потухшими глазами на бѣломъ лицѣ просунулась въ двери.

Изъ-подъ ея ищущей поднятой руки вынырнула и стала неподвижно косматая голова глухонѣмого.

Старикъ успѣлъ поднять свою палку, и теперь оба, вцѣпившись въ нее пальцами, выкручивали другъ другу руки и хрипѣли, тѣсно сбившись въ уголъ.

Александра выла, тряся головой, точно отмахивалась отъ назойливыхъ невидныхъ мухъ.

И только Антонина, придвинувшись къ самому клубку двухъ сплетшихся тѣлъ, что-то крича и нагибаясь, безсильно хотѣла помѣшать имъ, боясь за Фрола.

Фролъ остервенѣло билъ старика по лицу, сдавивъ его за горло. Удары вылетали изъ угла и разлетались подъ низкими потолками. Кругло каталась, стуча подъ ногами, выбитая изъ рукъ палка. У Антонины въ глазахъ закачались стѣны и стали совсѣмъ желтыми, точно выступила на нихъ накопившаяся годами желчь, и она не замѣтила, какъ въ углу рядомъ съ ней появился Тиша.

Огромный и сильный, весь до послѣдняго волоса пропитанный лѣсомъ, онъ взялъ, улыбаясь, подъ мышки Фрола,—легко оторвалъ отъ отца, поднялъ на воздухъ и отшвырнулъ въ сторону, а когда освобожденный старикъ вновь ухватилъ съ пола палку, такъ же легко вырвалъ у него палку, какъ поднялъ Фрола. Потомъ съ тою же нелюдской улыбкой на неподвижномъ лицѣ опустился на колѣни передъ стоявшей рядомъ съ нимъ Антониной, и, когда та погладила его по косматой головѣ, по дѣтски тихо и по лѣсному жутко поцѣловалъ у нея руку.

XIV

Фролъ въ тотъ же день уѣхалъ съ обозомъ.

Съ Антониной онъ простился въ сѣняхъ, куда не вышла его проводить мать, боясь старика.

Бердоносовъ лежалъ въ своей комнатѣ, съ головой закутавшись въ одѣяло, и только изрѣдка кашлялъ лающимъ горловымъ кашлемъ.

— Куда?—спросила у Фрола Антонина.

— Не привыкать... Дорогъ много,—дѣланно улыбнулся Фролъ.

Лѣвый глазъ у него распухъ, и надъ бровью краснѣла ссадина.

Антонина хотѣла что-то спросить, что-то очень важное и нужное, и поняла вдругъ, что онъ не отвѣтитъ, что для него это не важно и не нужно.

Изъ-подъ теплаго платка она смотрѣла талыми глазами, какъ онъ садился на возъ досокъ и прикручивалъ къ нему веревкой свой чемоданъ и узелъ. И было что-то жалкое въ его потертомъ башлыкѣ и распухшемъ глазѣ, какъ было что-то разгульное въ его широкихъ плечахъ, прямой посадкѣ и кривой небрежной усмѣшкѣ изъ подъ крылатаго съ горбинкой носа.

Скрылся обозъ за лѣсными сугробами, потомъ утонули въ нихъ и скрипъ возовъ и голоса людей.

Фукала лѣсопилка, и медленно вился и падалъ снѣгъ.

Антонинѣ хотѣлось крикнуть такъ, чтобы далеко въ лѣсу было слышно, но выпелъ плачъ, и чтобы сдержать его, она кусала губы, и раскаленная морозомъ желѣзная скобка, къ которой она прислонилась лицомъ, жгла ей високъ.

Лѣсъ торчалъ кругомъ сонный и синій, и стояла неподвижно у забора, но досадно плясала въ глазахъ знакомая сторожка съ облупленной бѣлой трубой,

длинной и дразнящей, какъ высунутый кѣмъ-то пятнистый языкъ; да на дворѣ все было вскопано и взбито полозьями саней и шагами лошадей и рабочихъ. А за спиной сыто молчалъ Бердоносовскій домъ.

Потянулись тихіе и глухіе дни, каждый день, какъ пустой деревянный ящикъ съ однимъ и тѣмъ же придушеннымъ отвѣтомъ на всякій стукъ.

Въ лѣсу то хлопьями валилъ снѣгъ, точно застывшее небо кусками падало на землю, то стояли разубранные въ алмазы яркіе морозы, высокіе и сжатые, зачарованные холодными лучами.

Въ пустыхъ комнатахъ пряталась жуть. По ночамъ,—слышно было со двора,—жалобно мычала заболѣвшая стельная корова; вперебой тревожно кричали пѣтухи на зоряхъ. Просыпаясь, Антонина почему-то всегда одинаково думала о томъ, что она умретъ. Щупала похудѣвшія руки, горячую голову около висковъ и тонкую шею, и все казалось ей слабымъ и легкимъ. Кругомъ было темно, и страшно было не жить и еще страшнѣе было жить. Тогда она вспоминала Фрола, представляла его широкій лобъ и насмѣшливые, свѣтлые глаза подъ выпуклыми бровями, и что-то колыхалось въ ней горячее, какъ нагрѣтый песокъ.

Она садилась на постели и тихо про себя плакала и думала. Хотѣлось пѣть длинную и жалобную пѣсню, въ которой бы онъ, Фролъ, былъ яснымъ соколомъ, на высокой соснѣ, а она понизовой иволгой въ кустахъ; но нельзя было подобрать столько жалостныхъ словъ, сколько ихъ вмѣщалось въ одной невидной слезѣ, катившейся по рукамъ.

Слѣпая жуть мотала около черные клубки изъ безконечной нитки, бросала ихъ беззвучно въ темноту и снова мотала. И въ этой безостановочной работѣ горѣла чья-то неизжитая сила.

Антонина пробовала молиться, но обрывки молитвъ, которые она знала, уплывали отъ нея куда-то въ пустоту, какъ осенняя паутина, потерявъ присущій

[illegible] запать [illegible] [illegible]ый [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

И неизвѣстно было кому и чемъ мелиться. Даже казалось почему-то страшнымъ, если бы дѣйствительно земная благодать сошла и озарила мгновенно мгу и темноту.

Слѣпая бормотала во снѣ: темная душа Таши спала въ тяжеломъ запертомъ со всѣхъ сторонъ сундукѣ тѣла и о какой-то неизвѣданной хорошей жизни мечтала. Можетъ быть, тоже неслышная, неслышная Александра.

Сонно, безъ увлеченія, трещалъ сверчокъ, да пукались тараканы.

XV

На Срѣтеніе была ярмарка въ Верхнемъ-Теленѣ. Шли и ѣхали лѣсомъ мимо лѣсопилки. Старый слѣпой съ поводыремъ мальчишкой напросились переночевать, коченѣющіе отъ холода. Бердоносова не было. Ихъ пустили. Слѣпой сидѣлъ за столомъ, ѣлъ и бормоталъ заученое.

Дай вамъ, Господи, не оставь васъ Господи! Просвѣти очеськи, проздравь рученьки, пошли вамъ, Господи, души спасеніе!

Былъ онъ сжатый, сухопарый, съ незамѣтнымъ костистымъ лицомъ; только бѣлые глаза на этомъ лицѣ, полуприкрытые вѣками, были большими; изъ нихъ не лучилось мысли, около нихъ летала мысль,—садилась во впадины морщинъ, на подпаленный временемъ рѣдкій и сѣдой волосъ бороды, на жующія губы. Мысль широкая, мягкая и слѣпая, сотканная изъ сумерокъ и невнятныхъ шумовъ, колыхалась, обнимаясь со свѣтомъ лампы, и отъ нея становилось тѣсно и безпокойно подъ низкимъ потолкомъ кухни.

Антонинъ незамѣтное лицо его казалось знакомымъ — часто видѣлся гдѣ-то. Такъ вспоминается черная глубина при видѣ колодца.

Слѣпая Агафья сползла къ нему съ печки, и они сидѣли на лавкѣ рядомъ, двое слѣпыхъ.

— Тебя какъ зовутъ-то? — спрашивала суетно Агафья.

— Стратономъ зовутъ, Стратономъ, родимая, а поводарь у меня Гаврикъ; какой онъ изъ себя, не знаю, николи не видалъ, знаю, что махонькій.

Гаврикъ таращилъ на всѣхъ васильковые глаза и хлюпалъ носомъ.

На оборванныхъ, латанныхъ полушубкахъ ихъ вошла въ домъ та ледяная зима, которая была за окнами, вошла и заглянула въ теплые углы.

—Обамысъ нимъ безродные,—говорилъ старикъ.— Онъ сиротка, а у меня жена померла... Моложе меня была и справная всѣмъ, зрячая, здоровая, а смерть взяла, не спросилась какая,—съѣла... Она простая, возьметъ, не скажетъ, какъ воръ хорошій.. И не найдешь.

— Всѣ умремъ,—вздыхала Александра.

— Всѣ-то всѣ, всѣ—истинно,—да кому охота?.. Никому не хочется...

— А вотъ тутъ у насъ безсносый жилъ... самъ повѣсился...—вставила Антонина.

Слова вышли тяжелыми, грубыми... ударились объ елей прежнихъ словъ и расплескали.

Повернулось лицо слѣпого.

— Самъ себя никто не вѣшаетъ: люди вѣшаютъ,— строго объяснилъ онъ.—Идутъ за нимъ неотступно и вѣшаютъ, а когда топятъ, али спичками травятъ. Нечистый ихъ водитъ, а они идутъ невидимые и въ уши жужжатъ, покеда своего не добьются... вотъ что...

Антонинѣ почудилось вдругъ, какъ она давно ночью невидимо пришла къ Зайцеву въ сторожку и задушила... она и нечистый.

Глаза слѣпого, хотя и бѣлые, казалось, видѣли что-то большее, чѣмъ ея глаза.

Тиша, лежавшій въ углу, поднялся и, мыча, тихо, какъ теленокъ, бодалъ слѣпого головою.

[illegible] отодвигаясь, спросилъ старикъ.

— Это Тиша... глуненькой... Наказаніе наше. Нѣмой, глухой, — скорбно махнула рукой Александра.

Тиша усѣлся на полу подъ его ногами, и, глядя ему по головѣ, слѣпой говорилъ:

— Благодать это у васъ въ домѣ, а не наказаніе,— [illegible] Божіе... Человѣческій разумъ Богъ отымаетъ,— свой даетъ, вѣрно, родимые. На него не смотри, что сидитъ да молчитъ,—онъ смыслитъ... Мы вотъ по краюшку ходимъ, а онъ въ самой глуби сидитъ, все видитъ. Заговоритъ современемъ, когда надо, теперь не надо, онъ и молчитъ—сидитъ, какъ голубь Божій, про себя думаетъ. Богъ,—Онъ гордыхъ-то не любитъ, не любитъ. Праведный, гордыхъ, смирнымъ даетъ. Кто смирнѣе, тотъ у него и въ чести... Своимъ умомъ не проживешь, умъ-то онъ тоже купый, какъ заячій хвостъ вокругъ себя не обовьешь. Что къ чему соображается, это тоже понять надо. Божьихъ колоколовъ [illegible]. Не тѣ птицы вѣщія, что цѣлый день [illegible]—о себѣ заявляютъ,—вотъ, молъ, [illegible], а тѣ, что по душамъ хоронятся, тѣ [illegible]. И не тѣ глазы драгоцѣнныя, [illegible]—разныхъ-глаза она, матушка, въ [illegible], а дѣла большія дѣлаетъ [illegible]...—Слѣпой помолчалъ, [illegible]. Былъ сказывали мнѣ, въ Москвѣ [illegible], [illegible] лютыя зимы отхаживаетъ [illegible]. Онъ тамъ про себя бормочетъ [illegible], какіе люди находились та[illegible] не просто онъ, а [illegible]. Другимъ—тем[illegible] ночью въ набатъ [illegible] искорки нигдѣ [illegible] пожаръ,— [illegible]—какъ-[illegible] за ночь.

— Какъ же это его допустили? Али благочестивыхъ людей не было?—спросила Агафья.

— Какъ не быть... Такъ ужъ, видно, онъ, угодникъ, самъ похотѣлъ, Господа молилъ, чтобы умереть позорной смертью... Зато, говорятъ, какъ хоронили его, — народу — народу, — нѣсть числа прямо! Слышно, черезъ годъ ему памятникъ поставятъ...

Когда говорилъ слѣпой, то незамѣтное лицо его было неподвижно, бѣлое, какъ глаза, точно это говорилъ не онъ, а кто-то сидящій внутри его, темный. Говорилъ, будто молитвы пѣлъ.

Антонина вслушивалась. Старое капало въ душу. Александра сидѣла, подперевъ тонкими руками безучастное узкое лицо. Тѣни прятались по угламъ, возлѣ печи.

Голова у слѣпого была поднята, и подъ тонкой кожей шеи двигались горловые позвонки, точно тамъ именно и сидѣлъ темный и оттуда выталкивалъ круглыя слова, отъ которыхъ пахло лѣсною дремой.

— Я давно слѣпой... Привыкъ. Противъ Его святой воли не пойдешь. Значитъ, было за что на меня позоръ наложить. Онъ и наложилъ, Батюшка. Теперь я Его человѣкъ, мягкій, куда Онъ мнетъ, туда и мнусь. Упорства у меня нѣтъ, заботъ нѣтъ. Ты, Батюшка, ослѣпилъ, Ты и веди. Твой промыселъ,— веди,—сдѣлай милость. Мнѣ же спокой даешь... Допрежь по солнышку скучалъ я, по солнышку да по травкѣ зеленой. Мужицкое дѣло солнышко да травка, что мужику больше? Травкой кормится, солнышкомъ грѣется. Скучалъ шибко, такъ что роптал даже... Ну, Богъ помогъ, укорился. Опять же отъ травки запахъ идетъ, а солнышко кожу дубитъ, все дубитъ, все дубитъ одинаково, что слѣпому, что зрячему. Людей не видишь,—голосъ ихъ слышишь, по голосу судишь, какіе они есть люди... вонъ что.

— А какая я есть?—спросила вдругъ Антонина.

Слѣпой обернулъ въ ея сторону лицо — Ты-то? Онъ пожевалъ губами, брезгливо сморщилъ брови

и отвѣтилъ: — Ты — безстыжая... На позоръ тебѣ надо!

Слова были простыя, можетъ быть, вздорныя, но упало что-то внутри Антонины, какъ чугунная крышка.

Слѣпой увидѣлъ. Она знала, что она безстыжая, и вѣрила, что нуженъ позоръ. Это было глубоко, чуть слышно и рѣдко всплывало наверхъ, но становилось грознымъ, когда всплывало.

Молчали дни, зато говорили ночи.

И ночи говорили всегда одно.

Сидѣли на лавкѣ двое слѣпыхъ, Стратонъ и Агафья, одинъ—сухопарый и сжатый, другая дородная, съ распухшимъ отъ печной теплоты тѣломъ, оба разные и оба одинокіе, съ темными, глядящими внутрь глазами, а около ихъ ногъ спокойно мостился Тишка съ темной душой.

Еле разжималъ тяжелыя вѣки Гаврикъ, о чемъ-то своемъ тоскливомъ думалъ Александра.

Но Антонинѣ казалось, что ее разрѣзали пополамъ и всѣ смотрятъ: десять глазъ здѣсь, — тысячи отовсюду. И нечѣмъ закрыться отъ этихъ глазъ.

[illegible] на головы, лицо. Сжатыя губы и волосъ спутались, разбѣгались [illegible] тѣлами, связались въ сѣтку [illegible]

[illegible] ночи залегли тѣни.

[illegible]

[illegible] и скулить, какъ [illegible] щенокъ [illegible] дрожащій, голодный, [illegible] и тяжестью.

[illegible]

[illegible]... [illegible]—[illegible] еще я [illegible] одинъ [illegible]. Терен[illegible]—[illegible]—[illegible] богатый [illegible] это... [illegible] Нѣтъ себѣ ничего, [illegible]

— Ты, говорятъ ему, Терентій, должно купца ограбилъ?

— А ты, спроситъ, видалъ?—и смѣется.

Можетъ, онъ кровь пролилъ, никто не знаетъ. Только разъ, подъ Крещенье, идетъ Терентій по улицѣ голый... День, морозъ... идетъ, на себя не похожій, страшный, весь какъ есть голый... Срамъ!.. Подошли мы, думали пьяный. Нѣтъ, трезвый.—«Никто меня, говоритъ, судить не можетъ, самъ я себя сужу... Грѣхъ на мнѣ лежитъ, душу давитъ. Вотъ и сужу. А вы не вступайтесь!...» Народу выбѣжало смотрѣть—все село... Идетъ, дрожитъ... Подошелъ къ рѣкѣ, къ прорубю, окунулся три раза да подъ ледъ юркъ... Только его и видѣли. И какой грѣхъ такой, такъ никто и по сю пору не знаетъ.

Гаврикъ спалъ, свернувшись на лавкѣ, Тиша спалъ подъ столомъ на полу. Лицо Александры, скучное и желтое, заострилось, какъ лезвіе ножа.

Двое слѣпыхъ говорили о чемъ-то длинномъ, какъ жизнь, и такомъ же страшномъ, какъ жизнь.

Рано утромъ, когда уходилъ Стратонъ, и, поднявшись, бродили по двору рабочіе, горячая отъ ночного кошмара, на холодъ, босая и въ одной рубашкѣ выбѣжала Антонина.

Морозная мгла зотолпилась около нея, мутная, и выбрасывала прямо къ ней темныя пятна рабочихъ. Маячили слизанные углы дома и сараевъ. Голыя ноги прилипали ко льду и снѣгу. Холодъ сжималъ и рвалъ жесткими пальцами тѣло подъ рубашкой.

— Тошно мнѣ! На позоръ хочу! — надорваннымъ, чужимъ голосомъ кричала Антонина.

Все въ ней было чужое, и подъ этимъ чужимъ, какъ подъ пепломъ, все было свое и вспыхнуло.

Въ узкую щель немногихъ словъ вылилась донная муть:

— Тошно мнѣ! На позоръ хочу!

Въ виски изнутри хлестало что-то горячее и потомъ ухало внизъ въ упругія ноги.

Темныя пятна шли къ ней отовсюду, мигая. Это имъ она кричала: «На позоръ хочу!»

Упала съ размаху въ сугробъ и, забывъ все, коченѣя, билась въ немъ, воя, какъ тогда на Троицу, въ зеленомъ лѣсу церкви.

Осторожно подняли ее испуганныя руки и отнесли въ домъ, а она извивалась и корчилась, какъ раздавленная, синяя, страшная, чужая.

Долго лежала больная Антонина. Бредила слѣпымъ, безволосымъ, маленькимъ съ родимымъ пятномъ, Максимомъ, Фроломъ...

И кто-то все путалъ ее, приближаясь, обходилъ хрустомъ съ тихимъ трескомъ, ломалъ надъ нею тонкіе прутья, бросалъ на нее чѣмъ-то плотнымъ, какъ [illegible]. Его лица его не было видно.

— Покажись!—кричала ему Антонина.—Встав из [illegible], долго искала его выпуклыми распятыми [illegible] по всѣмъ угламъ.—Ну, покажись! Я тебя не [illegible]. Боишь—боюсь!—Не боюсь, не боюсь!... Цвѣ[illegible] [illegible] вспоминала вдругъ и начинала пѣть [illegible] хорошія, унылыя пѣсни.

[illegible] Бородиновъ привезъ къ ней Георга, и [illegible] докторъ-провидѣнъ долго осматривалъ ее, [illegible] [illegible] быстрыми шажками по кухнѣ, читалъ [illegible]. Наконецъ, написалъ приказаніе злому духу [illegible] бумажкѣ свернулъ и былъ проглотить. Ан[illegible] [illegible] бумажку и бросила. Георгъ рѣшилъ, [illegible] уѣхалъ. Но въ ночь она встала, [illegible] [illegible] какъ весенній лучъ.

XV.

[illegible] [illegible]. Кто-то невидимый тѣнью [illegible] [illegible] пошелъ въ лѣсъ и пошелъ по-

дымая топь. На сугробы опрокидывалъ ковши горячихъ лучей, и сугробы ежились и фыркали, какъ разбуженные въ берлогахъ звѣри; отъ почернѣвшихъ кочекъ и пней отдиралъ льды; звенѣлъ вверху, какъ колокольчиками, тонкими вѣтками, осыпая съ нихъ искристыя сосульки; мѣсилъ жидкое тѣсто на дорогахъ; дышалъ голубымъ небомъ, запахомъ ранняго дѣтства, соками размякшей древесной коры, клеемъ еле замѣтныхъ почекъ.

И отъ него одного, невидимаго, въ лѣсу становилось домовито и тѣсно, какъ въ пасхальной печи, уставленной куличами.

Никто не замѣтилъ, когда поднялась топь. Случилось ли это ночью, болѣе глубокой и мудрой, чѣмъ день, или днемъ, но далеко отъ человѣка, подъ защитой густого ольшанника и вербъ, или утреннія зори разгадали тайну,—только топь поднялась высоко и властно и залила лѣсъ.

Она плотно охватила снизу дубы и березы, точно они и такъ не были въ ея власти, и деревья стали еще болѣе неподвижными и тихими, чѣмъ были; она побѣдно шумѣла, мчась по оврагамъ, гнула ивы и ломала хрупкій сушнякъ; она всползала на высокія дороги и лѣниво и довольно, какъ собака послѣ охоты, отдыхала тамъ на солнцепекѣ, влажно вглядываясь въ небо мутными отъ опьяненія собственнымъ разгуломъ глазами.

Стало просто въ лѣсу: голый и мокрый, жилистый и черный—тихо купался въ мутномъ и густомъ и узнавалъ себя опрокинутымъ въ желтыхъ переливахъ.

Горячо, синё и ярко распласталось небо, и, сходясь въ узкія воронки, все цѣликомъ падало на поляны, ставшія озерами.

Озера плавились и лучились. Что-то лежало въ нихъ на самомъ днѣ, что пробуждалось и звало солнце. И солнце спускалось къ нему въ глубь по воронкамъ неба.

Цѣлые дни сплетались изъ улыбокъ; ими перекликались, дрожа, узкіе овраги съ огромнымъ небомъ и мелкія вѣтки съ глубиной корней, и журавлиныя стаи съ разгульными болотами, издали сверкающими, какъ лежачія солнца.

Скользили тайны, невидныя и неслышныя, но полныя говора и блеска. Плавныя, неизвѣстно откуда идущія, онѣ безостановочно наполняли лѣсъ, все новыя, все прежнія, струились въ водяныхъ струяхъ, кружились мягкими изломами уходящихъ линій, точно открылся вдругъ крѣпко забитый ящикъ, доверху полный кѣмъ-то прекраснымъ видѣнныхъ сновъ, и эти сны разлетались теперь на свободѣ, небесные, но безсильные оторваться отъ земной тѣсноты и скуки.

Сквозило неясное, широкоглазое, безпокойное и нѣмое, и заслоняло то, что было вблизи, облаками дали.

Кто-то колдовалъ кругомъ, и зіяла топь.

Потомъ стали подыматься туманы плотные и сѣрые, какъ войлокъ, и ревниво окутали лѣсъ, чтобы никто не видалъ, какъ жадно въ тысячу открытыхъ ртовъ пили, спѣша и давясь, земныя нѣдра.

Приподнялись слѣпыя и безгубыя, прихлынули и сомкнули, еще болѣе глубокія и темныя, чѣмъ сама топь, и болѣе властныя.

Въ туманѣ не видно было, какъ боролась топь, но стоялъ сжатый разлаженный шумъ отъ ея усилій и стоновъ, ночью слышнѣе, чѣмъ днемъ, и всего понятнѣе вечерами.

Совершалось что-то страшное, всегда одинаково бывшее испоконъ вѣка: [illegible] и поглощало другое, за стѣною жизни стояла смерть, за стѣной обрывъ безднa, и стѣны были тонкіе и прозрачнѣе, чѣмъ осенній воздухъ.

Шли и тучи [illegible] тонкими [illegible] воро[illegible] [illegible] туманы [illegible] [illegible] путь [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] то, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] бure-

ломъ, безсмысленно и лѣниво, раздуваясь отъ ненужной воды, какъ куча огромныхъ черныхъ піявокъ.

И когда смирилась, наконецъ, топь и вошла въ прежнія жидкія логова, тощая и мстительно темная, надъ ней уже распускались молодые листья, и птицы пѣли, и млѣла кругомъ нестройная, шумная, мелкая, какъ разлетѣвшійся пухъ, жизнь, и около, по грязнымъ дорогамъ тянулись, скрипѣли и вязли, снова тянулись и скрипѣли воза.

XVII

Дорога на Милюково отъ Бердоносовской лѣсопилки шла все время лѣсомъ. Пять верстъ до села Дуплятый Курганъ, восемь до деревни Дуплятый Кустъ. Потомъ шли деревни и села—Атамановъ Уголъ, Чуевская Аладушка, Княжій Байгоръ, Подысаково, Солдатская Вихляйка, Чекмари—тожъ,—всѣ въ лѣсу съ небольшими разгонами для хлѣба, всѣ похожія одна на другую, сѣрыя, затхлыя, и такъ сорокъ пять верстъ вплоть до Милюкова.

По зеленой, только недавно распустившейся яркой листвѣ ползало желторукое солнце, качалось на вѣткахъ, незамѣтно прыгало съ дерева на дерево и опять ползало и купалось въ мягкомъ ароматѣ. Звонили въ тонкіе лѣсные колокольчики зяблики и славки. Прятались шорохи и шумы по оврагамъ, тамъ, гдѣ было густо, таинственно, и безостановочно и торопливо бѣжала куда-то холодная вода.

По молочно бѣлымъ стѣнамъ березняка проводили безпокойныя темныя полосы рѣдкія ольхи, такія же ровныя и тонкія, какъ березы, или вдругъ рѣзко бросался въ глаза упрямый дубокъ. Этотъ былъ изгибистый и корявый, точно кланялся направо и налѣво прямымъ и бѣлымъ, чтобы не задушили и пропустили на синюю свободу.

Вблизи отъ дороги въ пушистыхъ бѣлобрысыхъ кустахъ вербъ все время стоялъ кто-то молодой, куд-

...ный,—и провожать Антонину, когда
...ково.

...жить и страшно жить, и когда она
...только объ одномъ этомъ: стыдно

...Гордоносовъ, мигая зелеными глазами,
...въ городъ. Когда говорилъ ей это,
...надъ правымъ крыломъ его носа
...ка. Никого не было въ комнатѣ,—
...противно точно въ ротъ попала
...ла ему въ старое лицо, какъ когда-
...невѣстка Марья.

...ала, прощаясь. Тиша за недѣлю
...ль бродитъ, и кто-то принесъ о немъ
...ью, въ промежуткѣ между двумя
...ями раздавилъ поѣздъ.
...на печи, не слѣзая, и говорила сама

...ла дышать лѣсопилка, и слился съ
...ора. Антонина обрадовалась чему-
...ла навстрѣчу лѣсу, а лѣсъ шелъ
...тала, спѣша, лѣсную силу, а лѣсъ
...е всю цѣликомъ своимъ мягкимъ
...вющимся отъ солнца.

...орчали не обмолоченныя колесами
...чки, и больно было ногамъ, обу-
...лапти. Но кашли около какіе-то
...ты на высокихъ стебляхъ, и
...челы, очень было домовито, и

...ургана дошли незамѣтно, и когда
...мна, то почему-то стало совсѣмъ
...ькѣ, какъ будто эти желтыя
...то, за что нужно было крѣпко
...не утонуть.

...ал

Широкій рыжій мужикъ въ поскони, складывавшій на возъ жерди, обернулся и посмотрѣлъ на нее угломъ бороды, позолоченной солнцемъ.

— Богъ помочь! — весело бросила ему Антонина.

Мужикъ приподнялъ картузъ съ блестѣвшимъ новымъ козырькомъ, прищурился, подумалъ о чемъ-то, можетъ быть, хотѣлъ что-то сказать, да раздумалъ и опять отвернулся къ кучѣ жердей.

Затолпились приземистыя избы, узкоглазыя, такія несмѣлыя въ высокомъ лѣсу, какъ грибныя гнѣзда. Разступились передъ церковью, — деревянной, окрашенной подъ кирпичъ съ бѣлыми разводами, — и опять скучились вмѣстѣ. Дѣлили какія то близкія, тѣсныя мысли, у всѣхъ одинакія, ползучія, но теплыя... должно быть, теплыя; слишкомъ ужъ много золотисто зеленаго солнца было кругомъ.

Между Дуплятымъ Курганомъ и Дуплятымъ Кустомъ нагналъ ее возъ съ бойкой лошаденкой, съ сырымъ, заспаннымъ мужикомъ и веселой, чуть пьяной бабой. На лошаденкѣ болталась шлея, и трескуче лопалось что-то въ бубенцахъ на шеѣ, точно кто-то всю дорогу безостановочно разбивалъ склянки. Антонина посторонилась, чтобы пропустить, но баба, черноволосая, красная, съ веселымъ задраннымъ носомъ, остановила лошадь.

— Садись, довеземъ!...

— Въ Милюково я, — далеко везти будетъ, — улыбнулась Антонина.

— И-и молодайка!... Какъ еще хорошо-то! А мы въ Подысаково... Въ Подысаковѣ и ссодимъ... Лѣзь! — Не робь!

Мужикъ посмотрѣлъ на нее, утвердительно мотнулъ головой и подвинулся.

Баба была такая же, какъ лѣсъ днемъ, а мужикъ такой же, какъ лѣсъ ночью.

И опять захлопала шлея, и зазвенѣли бубенцы, какъ стеклянныя брызги, и колеса, подскакивая на сухихъ кочкахъ, невнятно бубнили о чемъ-то, а баба

равняла всѣ звуки крикливымъ потокомъ словъ, мало понятныхъ, но бойкихъ и круглыхъ, и все хохотала, все хохотала.

Когда же, замолчавъ на минутку, прильнула напиться воды изъ желтаго кувшина, спрятаннаго между мѣшками, то мужикъ повернулся къ Антонинѣ и проговорилъ съ усиліемъ, мигая глазами.

— А ты, молодуха, тово... Это самое... Вотъ въ Атамановъ Уголъ пріѣдемъ... Трактиръ тамъ, это... д-а-а... въ самый обѣдъ пріѣдемъ... угостить должна... вотъ.

И склонилъ на бокъ голову, добрую и мягкую, какъ у большихъ старыхъ собакъ съ кудлатой шерстью.

Лѣсъ съ обѣихъ сторонъ капалъ зеленымъ дождемъ, плылъ зелеными тучами, смѣялся беззвучнымъ смѣхомъ надъ желторукимъ солнцемъ, которое все хотѣло улечься на землю и не могло.

Въ Атамановомъ Углу мужикъ напился и потомъ спалъ всю дорогу, занявъ полъ-телѣги, зыбкій, какъ студень.

Правила баба, тоже полусонная и съ одеревянѣвшимъ языкомъ,

Въ Подысаковѣ баба долго объясняла Антонинѣ, какъ лѣсомъ часа за два можно дойти до Милюкова, такъ что Солдатская Вихляйка останется вправо.

Антонина и сама знала, что ходятъ лѣсомъ, и что это на шесть верстъ ближе, чѣмъ по дорогѣ. Только нужно было попасть на ту плотину изъ хвороста и соломы, которой перегатили топь подысаковцы.

Спускался вечеръ, и наползали дождевыя тучи, пухлыя, сѣрыя, съ бѣлыми краями.

XVIII

Антонина не знала, какъ это случилось, что она не нашла плотины, и топь окружила ее со всѣхъ сторонъ.

Насквозь пронизала сѣрая сырость, хлюпало подъ ногами.

Она шла по тропинкѣ, но не по той, о которой говорила баба. Стволы березъ сливались въ двѣ бѣлыхъ стѣны, и тропинка бросалась между этими стѣнами то вправо, то влѣво по сухокочью, точно сама искала выхода куда нибудь на свѣтъ и грызла корни.

Топь было видно съ обѣихъ сторонъ; она тускло поблескивала засыпающими глазами, прячась за стволами и мягкими обомшенными кочками, какъ живая. Тихо дышала холоднымъ дурманомъ испареній, чуть слышно переплескивала гдѣ-то вдали, подкрадываясь ближе, какъ живая; и какъ живая, подымалась и вливалась въ душу ледяными струйками, быстрыми и острыми, какъ уколы булавки: уколетъ и отскочитъ.

На кочкахъ торчали жидкіе кусты, и кочки были похожи на бородавки топи, а кусты на волосы.

Тихо было, и тишина была властная, какъ чьи-то длинныя, спутанныя въ крѣпкую сѣть руки.

Тучи, похожія на хлопья сырой пеньки, туго забили всѣ просвѣты вверху; вѣтки стали чернѣть и сливаться съ тучами въ одинъ тяжелый потолокъ.

Тучи спускались къ топи, топь тянулась къ тучамъ.

Близко отъ Антонины упала сухая березовая вѣтка, и Антонина остановилась, потому что вдругъ стало страшно.

— А-а, — крикнула она, что было силы.

Глухо отвѣтила тѣмъ же самымъ топь между березами.

— А-а! — крикнула она еще разъ.

Впереди враждебно залегли сумерки. Они стаскивали въ одну сѣрую кучу, и кусты, и туманъ, и стволы березъ, и никуда не пускали глазъ, колдуя надъ чашами лѣсной воды.

Но незамѣтно обходили они и справа и слѣва, склеивая деревья, и только сзади мерещилось что-то знакомое, видѣнное недавно.

[illegible]нина пошла назадъ [illegible] тѣмъ же шагомъ, [illegible] прямо, но сумерки [illegible] надвигаясь. [illegible] спину. За оборки [illegible] лаптей [illegible] кусты дикой малины, глухой крапивы и ло- [illegible] подъ ногами.

[illegible] замѣтила, какъ побѣжала. Сверху упало [illegible] нѣсколько крупныхъ капель, теплыхъ, какъ [illegible].

[illegible] стучать около въ раздвигаемыхъ кустахъ, [illegible], что шумѣло все кругомъ, какъ огромная [illegible] казалось, что гдѣ-то близко поймали [illegible] или дубинами по мягкому тѣлу.

[illegible] и темное двигалось впередъ толчками, и [illegible] новымъ толчкомъ все шире, гуще и [illegible].

[illegible] упало нѣсколько капель, и поползло по ще- [illegible] бородку, точно ощупало, какъ пальцы слѣ- [illegible] Устинина старалась думать о Подысаковѣ и [illegible], чуть пьяной бабѣ, съ которой ѣхала. [illegible], хороня бабу, мужикъ, дремучій, какъ, [illegible] сонным языкомъ бормоталъ: «Тово... д-а-а... [illegible]» Торчали клочья волосъ, какъ кусты, [illegible] березовые сучья, и не видно было глазъ, смысла, [illegible] сквозь нихъ мигало что-то.

[illegible]минилась шишига лѣсная такъ ясно, какъ [illegible] ничего потомъ не было: это и то, и никакого [illegible] между ними.

[illegible]кало, загикало въ ушахъ, пригибая голову [illegible] рукамъ съ узлистымъ платьемъ.

[illegible] въ полушубкѣ и въ [illegible] платкѣ, [illegible] съ лѣсопилки [illegible] это мѣшало бѣ- [illegible] душно, и тѣло [illegible] отъ пота.

[illegible] ровно со всѣмъ [illegible] [illegible] [illegible]

Дождь полилъ сильнѣе, точно спихнулъ его громъ, переплеснувъ черезъ плотину тучъ.

Антонина остановилась, перекрестилась. Остановилась и топь. Только дождь ровно шумѣлъ въ листьяхъ.

Полушубокъ намокъ и сталъ тяжелымъ, какъ обвѣшанный гирями.

Какъ будто не прошло десятка лѣтъ; передъ лѣсомъ опять стояла маленькая дѣвочка и испуганной нѣмотой глазъ спрашивала: «Это, что это?», и опять только тянулись отовсюду загребистыя паучьи лапы страха и ткали кругомъ частую паутину.

Мерещилась изба въ Подысаковѣ и своя старая изба въ Милюковѣ, широкая, съ зеленымъ ведромъ въ углу, съ морщинистой коричневой бабкой Марьей, слѣзающей съ печи.

И опять пошли куда-то ноги въ темнотѣ и дождевомъ шумѣ...

XIX

Когда тропинка раздвоилась, и Антонина взяла вправо, гдѣ было шире, она подумала вдругъ, что можетъ быть идетъ не назадъ, а куда-то еще глубже въ топь, но тропинка раздвигалась съ каждымъ шагомъ, и кусты уже не били по ногамъ. Значитъ, здѣсь ходили много и часто, можетъ быть, вотъ теперь, нѣсколько минутъ назадъ, кто-нибудь прошелъ и идетъ впереди.

— А-а!—крикнула Антонина.

Пошла быстрѣе, спотыкаясь о корни и кочки.

Дождь все лилъ, точно небо опрокинулось на землю, или отъ неба къ землѣ протянулись и повисли водяные мосты.

—А-а—крикнула еще разъ Антонина,

Почудилось, что гдѣ-то далеко залаяла собака. Этотъ лай отдался въ глазахъ, будто зажженная въ темнотѣ спичка: сверкнуло что-то. Стало теплѣй.

Опять крикнула, и опять гдѣ-то далеко сверкнулъ лай.

Ночь кругомъ была густая,темная, мокрая, точно это была не ночь, а сама топь, поднявшаяся вмѣстѣ со своимъ дномъ, оторвавшись отъ лѣсныхъ глубинъ.

Лай собаки былъ отрывистый, далекій: одно небольшое понятное въ непонятномъ большомъ.

Антонина шла долго; ноги все деревянѣли, тяжелѣли, болѣли въ колѣняхъ. Уже и дождь ослабѣлъ, только плотная густая сырость, повиснувъ въ темнотѣ, тащилась рядомъ.

И вдругъ совсѣмъ близко короткій лай, и ее стало видно, старую большую бѣлесую собаку съ кудлатой шерстью, видно потому, что шла узкая полоса желтаго свѣта сквозь черные стволы и разбивалась на ея мордѣ.

Она мирно обнюхала мокрый полушубокъ и пошла впередъ, а впереди изъ неплотно притворенной двери и щелей въ стѣнахъ дымнаго сарая вырывались свѣтлые косяки.

Антонина постояла у двери, оглянулась кругомъ. Тьма и сырость толкала дальше, къ людямъ, спавшимъ въ сараѣ. Видно было въ дверь, какъ спали на низкихъ нарахъ, и горѣла жестяная лампа посрединѣ на толстомъ столбѣ. Около сарая встали высокія черныя кучи. Антонина присмотрѣлась и вспомнила, что это торфъ, что все это мѣсто — торфяная рѣзка верстахъ въ десяти отъ Милюкова... Значитъ, въ сараѣ спала артель.

Собака ушла куда-то, стало пусто. Антонина нажала на дверь и вошла. Не сразу вошла: топь сгустилась сзади и втолкнула ее, упершись ей въ плечи.

Клокотало зловонное дыханіе спящихъ. Дальніе были видны плохо, мутно, но яркіе были ближніе; одинъ чернобородый, съ запрокинутой головой и открытымъ ртомъ, съ выглѣзшими изъ-подъ кромки пиджака голыми ногами другой за нимъ

молодой безусый, подъ порваннымъ тулупомъ, пестрымъ отъ заплатъ. Еще дальше лежалъ огромный съ кучей спутанныхъ волосъ: дыбилась отъ дыханія широкая спина, обтянутая красной рубахой, и далеко; выступала черная нога, придавивъ мокрый опорокъ.

Всѣхъ было около тридцати, и всѣ спали.

Днемъ они стояли по колѣна въ холодной лѣсной водѣ, рѣзали торфъ, ругались, проклинали болото, нужду, артельщика, хозяина, на котораго они работали, тѣхъ людей, которымъ будетъ когда-то тепло оттого, что холодно теперь имъ.

А ночью спали вповалку тяжелымъ сномъ.

По праздникамъ пили водку, для чего расходились по окрестнымъ селамъ, откуда были сами, и гдѣ жили ихъ семьи... нищія, нечѣмъ было согрѣть.

Антонина ждала, что вотъ кто-нибудь проснется и скажетъ.

Въ чуть отворенную дверь видна была ночь, какъ плотная стѣна, и утихающій дождь шумѣлъ по крышѣ.

Мокрый полушубокъ давилъ плечи, отъ платка больно было головѣ. Хотѣлось спать. Завидно было, что всѣ кругомъ спали, а она стоитъ. Оглянулась кругомъ, увидѣла влѣво отъ двери узенькую скамейку и хотѣла сѣсть, но скамейка была неровная со сломанной ножкой, подпертая чурбакомъ посрединѣ, и когда опустилась на край Антонина, то другой край приподнялся и задѣлъ ножкой стоявшее подъ нимъ пустое звучное ведро. Антонина вздрогнула и вскочила, чтобы уйти такъ же незамѣтно, какъ пришла, но проснулся черный, лежавшій ближе всѣхъ, и поднялъ голову.

Свѣтъ отъ лампы мелькнулъ въ мутныхъ бѣлкахъ глаза расширились, округлились, втянули въ себя незнакомое и встревожились.

Антонина почувствовала, какъ она пристыла къ полу; хотѣла что-то сказать и онѣмѣла.

Черный сбросилъ съ себя армякъ, сѣлъ, сдвинулъ со лба волосы.

— Баба!... Зачѣмъ баба?...

Голосъ былъ отрывистый и глухой, какъ лай. Бѣлая рубашка; разстегнутый воротъ.

Баба!...

Онъ оглядѣлъ сарай, полосу ночи въ дверяхъ, полушубокъ и узелокъ въ рукѣ и догадался.

— Заблудилась, — шепнула ему Антонина.

Но онъ уже всталъ во весь ростъ, метнулся передъ ней, босой, и притворилъ зачѣмъ-то двери.

Глаза у него были, какъ у той зеленой головы, видѣнной такъ давно,—недавно.

— Ай! — крикнула она во весь голосъ, не помня себя отъ страха.

И сразу зашевелились всѣ, закопошились, какъ куча червей, сбрасывая спросонья лохмотья, пропитанныя тиной. Отовсюду потянулись головы; кто-то поднялся.

Кто-то спросилъ:

— Кто это?

Кто-то отвѣтилъ:

— Баба!

— Чья баба?...

— Гдѣ баба?

Кто-то кашлянулъ хрипло, кто-то выругался просто, добродушно.

Подошелъ молодой парень,—тулупъ въ накидку, и остановился передъ нею: смотрѣлъ и молчалъ. За нимъ еще парень, неодѣтый; огромный мужикъ въ красной рубахѣ; другой мужикъ, мельче и худѣе...

— Чья это?

— Тетка, ты откудова?

— Богъ далъ,—отвѣтилъ за нее черный,—заблудшая... Къ угодникамъ шла.

— Къ угодникамъ и попала, — сказалъ кто-то. Засмѣялись.

— Въ Милюково я... Ночь... Темь... Шла... Дожжь...

Слова ея падали беззвучныя, какъ рѣдкія капли дождя въ колодецъ.

— Чья такая?

Подходили новые, кривили губы. Окружили со всѣхъ сторонъ стѣною, какъ камышъ, и дверей не было видно изъ-за стѣны теплыхъ тѣлъ, пахнущихъ топью. Кто-то сзади коснулся платка на шеѣ.

— Ай!—крикнула, рванувшись, Антонина.

Сжалась, какъ пружина, и ударилась о стѣну упругихъ тѣлъ, но стѣна не разступилась, только вдругъ сосредоточилась, перебросилась глазами, замолчала.

Мягкій черный ротъ раскрылся и надвинулся на Антонину.

Она оглянулась кругомъ и, тихо крикнувъ еще разъ, онѣмѣла.

Притихло все—сарай, люди, ночь за дверями... И въ этомъ общемъ молчаніи родилось то страшное, которое показалось вдругъ всѣмъ простымъ и неизбѣжнымъ, такимъ же простымъ, какъ зеленая осока надъ водою или совиный крикъ ночью. И то, что она сама чувствовала это неизбѣжное, подѣйствовало на всѣхъ, какъ чей-то приказъ.

Они не сговаривались, только переглянулись, но это уже повисло надъ ними, занявъ всю ширину сарая, залегло въ щели стѣнъ, капало съ крыши.

Это она принесла на своихъ плечахъ оттуда, снаружи, гдѣ извивалась и пряталась между деревьями и кочками топь, и теперь оно оглушило и опьянило всѣхъ, какъ запахъ валерьяновой травы пьянитъ кошекъ; бываетъ еще такая тяжелая смѣсь веха, дурмана, бѣлены и царскаго зелья на днѣ овраговъ, что шумно и темно становится въ головѣ.

Всѣ какъ-то сразу поняли, что нужно сдѣлать. Кто-то сзади прикрутилъ лампу, такъ что стало темно и мутно.

Вровень съ дрожащей головой Антонины [illegible]лась черная голова съ невидимыми уже глазами. Въ руки скользнули по ея полушубку и свалили на [illegible].

Лампа испуганно мигала — быстрѣе-быстрѣе и [illegible].

Антонина кричала, вся вытянулась въ [illegible] — [illegible] кто-то ударить ее по лицу — [illegible] [illegible] кровь. За [illegible] [illegible].

[illegible] другихъ собакъ [illegible] [illegible] [illegible]

кой дорогѣ, и тамъ, гдѣ были гуще кусты и глубже прикрытая зеленью трясина, раскачали и бросили въ топь.

Проснулись поздно въ сараѣ. Утро было ясное, небо чистое. Только лѣсъ дымился, высушивая на солнцѣ промокшіе листья.

Выходили рабочіе, умывались, молились на солнце Богу.

Потомъ, серьезные и вялые, входили въ торфяное озеро и принимались за рѣзку медленно и молчаливо.

Молчали не такъ, какъ молчалъ лѣсъ. Всѣ знали, о чемъ говорить, но чувствовали, что нечего говорить. Стояли и рѣзали торфъ правильными кирпичами, мягкими и жирными тѣмъ живымъ, что когда-то раньше, давно, проглотила топь, такъ же, какъ теперь, ночью, нѣсколько часовъ назадъ.

И только когда сошлись обѣдать, самый молодой изъ всѣхъ, глупый еще парень, кашеваръ, обводя кругомъ удивленными глазами, умоляюще спросилъ всѣхъ:

— Что это, братцы, приснилось мнѣ что ли, быдто это нонче ночью въ сараѣ у насъ баба какая-то... и все?.. И какъ быдто умершая была, баба-то... Приснилось, что ли?..

— Попритчилось,—вяло бросилъ черный мужикъ.

— Знамо, попритчилось,—поддержалъ его другой, высокій.—Какая у насъ въ лѣсу баба? Тоже!..

— Быдто, Назаръ съ Ефимомъ ухватили ее такъ, какъ покойниковъ носятъ,—по-во-локли въ лѣсъ!.. А?.. Назаръ, быдто, за ноги, а Ефимъ за голову, а она недвижимая... По-во-локли въ лѣсъ!..—не унимался парень.

— Попритчилось...

— Брось, надоѣлъ, а то по мордѣ дамъ!—не выдержалъ кто-то.

А кто-то началъ смѣяться, что такому молодому и глупому парню снятся бабы, хотя и мертвыя.

И вдругъ всѣ засмѣялись, неудержимо, злобно и весело, ѣли и смѣялись, и говорили что-то острое, зазорное, нехорошее.

Въ каждой душѣ колотилъ тревожный молоточекъ все одно и то же: бы-ло, бы-ло, бы-ло, но хотѣли утопить въ смѣхѣ «было», и на его мѣсто поставить «не было».

Пообѣдали и не шли на работу; спали, говорили о домашнемъ.

Надъ лѣсомъ, дымнымъ отъ испареній, летѣли галки и кричали звонко и безтолково, точно наперебой вколачивали костяные гвозди въ небо, а надъ топью, въ томъ мѣстѣ, куда бросили Антонину, сидѣла на заднихъ лапахъ и жалобно плакала бѣлая кудлатая собака.

Н. ГАРИНЪ.

КОГДА-ТО.

ИЗЪ ПОСМЕРТНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ.

НИКОЛАЙ ГЕОРГІЕВИЧЪ
ГАРИНЪ-МИХАЙЛОВСКІЙ

СКОНЧАЛСЯ
27-го НОЯБРЯ
1906 г.

I

... Когда отворилась дверь, и я вошелъ въ столовую, Наталья Александровна вскрикнула и уставилась въ меня своими большими черными глазами:

— Я васъ не узнала... Отчего я такъ испугалась?

— Вы испугались меня?...

Она подумала и сказала:

— Вы мнѣ показались чернымъ...

— Чернымъ?...

Я думалъ объ этой встрѣчѣ и, быть можетъ, хотѣлъ показаться ей совсѣмъ другимъ...

— Вамъ налить чаю? Крѣпкій? Сколько кусковъ сахару?...

Разсѣянный, безучастный взглядъ, голосъ...

— Я сейчасъ въ театръ иду... Ваша комната готова... Если хотите, я позову къ вамъ мужа...

— Ему лучше?

— Все такъ же... Я сейчасъ... пойду, посмотрю...

Она встала, захватила съ собой мѣшочекъ съ биноклемъ и ушла. Средняго роста, худенькая, стройная, въ черномъ съ кружевами платьѣ... Эти кружева какъ будто говорятъ о желаніи нравиться, о чемъ-то болѣе легкомъ, чѣмъ равнодушный тонъ и серьезное безъ игры лицо...

А, можетъ быть, это лицо было бы совсѣмъ другимъ, если бы я показался ей другимъ?...

А что такое «я»? И почему непремѣнно — я? Почему ей ждать меня, когда и мужъ есть, и всѣхъ другихъ къ ея услугамъ столько же, сколько... сколько красивыхъ и молодыхъ людей будетъ, напримѣръ, въ театрѣ, куда она идетъ?..

Она вошла и сказала, что мужъ спитъ...

— Пойдемте, я покажу вамъ комнату... приготовленную для васъ. Комната большая, прямо изъ передней, а по ту сторону передней — ихъ домашнія комнаты; рядомъ съ моей — гостиная, изъ гостиной — ходъ въ столовую...

— Эту дверь, въ гостиную, вы можете запереть... Впрочемъ, у насъ никого почти не бываетъ, — вамъ будетъ спокойно... Это — комодъ, шкафъ... ящики въ столѣ запираются...

Она говорила разсѣянно, очевидно, не думая о томъ, что говорила...

— Отчего вы мнѣ показались чернымъ?

Что-то лукавое — въ ея лицѣ... Она уже готова улыбнуться... Но все таки не улыбается... Она говоритъ съ раздраженіемъ:

— Ахъ, какъ я испугалась... Заприте за мной дверь!...

Я вышелъ за дверь. Она была уже на площадкѣ лѣстницы. Обернувшись, она посмотрѣла мнѣ въ глаза, покачала головой и бросила:

— Мнѣ такъ не хочется идти въ теаатръ...

— Такъ не ходите!

Она помолчала, серьезно по товарищески сказала «надо» и пошла. Я стоялъ на площадкѣ и смотрѣлъ, какъ спускалась она по лѣстницѣ. Домъ былъ новый, лѣстница широкая, свѣтлая, было тепло... Ея стройная фигура опускалась по ступенькамъ, и я видѣлъ ея маленькую съ высокимъ подъемомъ ножку. Она чувствовала, что я смотрю, любуюсь ею, она знала это и не хотѣла поднимать головы. Только при послѣднемъ поворотѣ, какъ будто противъ воли, подняла она голову и такъ холодно посмотрѣла, что я, назвавъ себя мысленно дуракомъ, ушелъ въ квартиру и заперъ дверь.

И только что заперъ — опять звонокъ:

— Скажите дѣвушкѣ, чтобы приготовила самоваръ къ девяти часамъ. Пусть купитъ что-нибудь къ чаю...

И опять внимательный и въ то же время недоумѣвающій взглядъ. Я намѣревался сейчасъ же приняться за чемоданы и навести кое-какой порядокъ въ своемъ маленькомъ хозяйствѣ, но что-то меня удерживало: я думалъ о театрѣ, и меня тянуло туда, въ залитый огнями залъ, гдѣ много народа, шумно, гдѣ — она... Кто она?... Неуловимый, едва обрисовавшійся, едва коснувшійся меня призракъ... И даже не коснувшійся: недоумѣвающій, неудовлетворенный...

Тихо... Тикаютъ въ столовой часы и сильнѣе подчеркиваютъ тишину квартиры... Шаги человѣка въ туфляхъ: «мужъ»!... Дверь отворяется: высокій, сгорбленный, худой, въ халатѣ... Лицо длинное, острое, острый носъ, рѣдкая клиномъ бородка. Молодой.

Глухой голосъ, руки большія, костлявыя, съ крючкообразными загнутыми ногтями...

Я смотрю на эти ногти и вижу, какъ будетъ онъ лежать въ гробу, и высоко на груди у него будутъ сложены эти руки съ блѣдно-мертвыми большими загнутыми книзу ногтями...

Чувствовалось что-то болевое, обиженное до смерти...

Я посмотрѣлъ на часы и сказалъ:

— Уже одиннадцать... Наталья Александровна просила къ двѣнадцати самоваръ и что-нибудь къ чаю...

— Теперь поздно: наша лавка заперта уже.

— А что купить? Я пойду въ большіе магазины...

Онъ пожевалъ и не спѣша отвѣтилъ:

— Она любитъ рябчики холодные, икру...

Она любитъ... Непремѣнно надо рябчиковъ и икры!... Онъ запираетъ за мной дверь, я заботливо напоминаю ему о самоварѣ и черезъ двѣ ступеньки лечу по лѣстницѣ... Неожиданно вздрагиваю: передо мной — Наталья Александровна.

— Куда вы?

Я обрадованно сообщаю о рябчикахъ и икрѣ. Она устало отвѣчаетъ:

— А я не досидѣла... Скучно...

Мы стоимъ другъ противъ друга.

— Какъ хорошо на воздухѣ! — задумчиво говоритъ она. Я хочу предложить ей поѣхать вмѣстѣ за рябчиками, но не рѣшаюсь и смотрю ей въ глаза, странные, недоумѣвающіе.

— Что вы такъ смотрите?..

Я опускаю глаза.

— Я васъ не стѣсню, если поѣду съ вами?

— Вы?.. Меня?!..

Въ моемъ лицѣ, въ моемъ голосѣ столько радости, что и она оживляется...

Мы ѣдемъ. Плохой извощикъ... Перемѣнили на хорошаго... Летимъ... Мы въ магазинѣ, въ булочной. Она удерживаетъ меня отъ мотовства, мы весело смѣемся и смотримъ другъ другу въ глаза... Это лицо, глаза совсѣмъ не тѣ, которые смотрѣли на меня, когда я впервые вошелъ въ столовую...

Мягкая зима, нѣжный вѣтеръ и пушинки снѣга падаютъ на руки, лицо и рѣсницы. И тогда свѣтъ электрическихъ фонарей горитъ, какъ въ призмѣ, и такъ ярко, рядами выростаютъ громадные освѣщенные дома набережной. Я слегка обхватилъ ея тонкую талію и боюсь прикоснуться сильнѣе. Ощущеній самыхъ тонкихъ, самыхъ неуловимыхъ — милліонъ, но словъ нѣтъ, и говорить не о чемъ... О чемъ думаетъ эта головка, прячущая лицо за муфтой и какое лицо за этой муфтой?.. Я стараюсь вспомнить это лицо: я совершенно забылъ его, не помню; около меня какой-то чужой человѣкъ, котораго я не знаю, который меня не знаетъ, но котораго почему-то я хочу, заставляю себя знать. Зачѣмъ?.. Для того, чтобы вышла изъ всего этого какая нибудь пошлость. Сохрани Боже...

— Ѣдемъ домой.

— Ѣдемъ, моя дорогая, и я убью самого себя, если когда-нибудь дурное придетъ мнѣ въ голову. И те-

перь мнѣ ясно, кто она: страдающая, съ разбитой уже жизнью, когда и жить собственно не начинала.

А тамъ тотъ, умирающій, съ своимъ ракомъ или чѣмъ-то въ этомъ родѣ въ желудкѣ.

Тяжелая драма, и кто знаетъ, кому изъ нихъ тяжелѣе?

И какъ будто слушая мои мысли, она вздохнула и на мгновеніе прижалась ко мнѣ. И отъ этого движенія сердце сразу остановилось и дрожь пробѣжала по всему тѣлу. Ахъ, какъ хотѣлось знать, что чувствуетъ она въ это мгновеніе, понимаетъ ли, или, вѣрнѣе, дѣйствительно воспринимаетъ ли мои мысли, чувства, говоритъ ли со мной, пока мы такъ ѣдемъ, молчаливые и напряженные? А если бы вмѣсто пустыхъ словъ сказать вдругъ, что думаешь? И если бы вдругъ всѣ люди заговорили и языкомъ, и глазами и всѣмъ существомъ своимъ заговорили бы одно, только правду: что сталось бы съ ними, съ міромъ, со всей нашей жизнью? Что-то другое, совсѣмъ другое... Лучшее или худшее? Лучшее уже потому, что оно невѣдомое, новое, отъ котораго захватываетъ дыханіе и кажется, что растутъ крылья.

Стой!

Мы пріѣхали.

Знакомая уже лѣстница, тепло, свѣтъ, запахъ новой стройки.

Ея маленькое ухо, то, которое съ моей стороны, въ огнѣ и кажется прозрачнымъ. Снѣжинки таютъ на волосахъ и горятъ, какъ брилліанты. Она иногда поворачивается и смотритъ на меня, и свѣжій румянецъ оттѣняетъ ярче и бѣлизну лица, и блескъ черныхъ большихъ глазъ.

— Порядочно натратили?—спрашиваетъ она, нажимая звонокъ.

— О, это изъ тѣхъ денегъ, которыя для этого и предназначены.

— И много предназначено?

— Дядя подарилъ мнѣ билетъ въ тысячу рублей, и онъ весь будетъ такъ истраченъ.

— Вѣдь вы сразу все истратите. Лучше отдайте мнѣ, и я буду давать вамъ по частямъ.

— Съ наслажденіемъ.

И я, опустивъ пакеты, хотѣлъ достать билетъ.

Она остановила меня и сказала:

— Потомъ.

Она разсмѣялась, и я разсмѣялся.

Дверь отворилъ самъ мужъ и стоялъ въ халатѣ, согнувшійся, съ открытымъ ртомъ. Въ зеркалѣ напротивъ отражались мы всѣ: онъ, она и я.

Контрастъ большой: тамъ смерть, здѣсь жизнь.

— Если бы я его не удержала, онъ купилъ бы весь магазинъ... Ему дядя подарилъ тысячу рублей, и я ихъ беру у него подъ свою опеку.

— Такъ, такъ,—не то улыбаясь, не то показывая зубы, говорилъ мужъ, пятясь и кутаясь въ свой халатъ.

Въ столовой на чистой скатерти уютно шумѣлъ горячій самоваръ, стоялъ чистый чайный приборъ, и Наталья Александровна, заваривая чай, говорила, что съ удовольствіемъ напьется чаю.

Я развязывалъ пакеты, а мужъ сидѣлъ, стучалъ ногтями о столъ и съ полуоткрытымъ ртомъ, съ любопытствомъ слѣдилъ за содержимымъ въ пакетахъ.

Потомъ стали пить чай и ѣсть.

Наталья Александровна опять ушла въ свой міръ, разсѣянно прихлебывала изъ чашки и почти ничего не ѣла.

Мужъ ѣлъ много, съ аппетитомъ, и икру, и рябчики, и сыръ, и фрукты, и пирожныя. Ѣлъ руками и на замѣчаніе жены, что ему вредно, отвѣчалъ разсѣянно:

— Ничего, матушка.

II

Дни пошли за днями. Я свой послѣдній годъ ходилъ въ университетъ, ѣздилъ съ Натальей Алек-

сандровной въ театръ, катался съ ней по островамъ. Она до безумія любила быструю ѣзду, любила острова.

— Боже мой, какъ прекрасны они весной,—говорила она, когда мчались мы съ ней, и съ обѣихъ сторонъ, наклонившись подъ тяжестью снѣга, стояли высокія ели, а тамъ, въ просвѣтѣ между ними, голубое небо сверкало, и мерзлый снѣгъ хрустѣлъ, и снѣжная пыль осыпала насъ,—какъ чудны они весной, когда распускаются береза и душистый тополь.

Въ общемъ, впрочемъ, говорила она рѣдко. Обыкновенно же, точно просыпаясь, бросала нѣсколько словъ и опять погружалась въ свои мысли или чувства и ощущенія.

Я былъ говорливѣе и уже успѣлъ разсказать про себя все, что зналъ.

Она молчала, слушала и думала.

Мы не сговаривались, но оба мужу не говорили ничего о нашихъ поѣздкахъ.

Она только какъ-то бросила мимоходомъ:

— Мы ничѣмъ не связаны другъ съ другомъ.

Я подумалъ бы что-нибудь, если бы это не было сказано такимъ равнодушнымъ и безучастнымъ тономъ. Да и вообще я ни о чемъ не думалъ, кромѣ какъ о томъ, чтобы она не заподозрила во мнѣ какихъ-нибудь грязныхъ поползновеній.

Даже надѣвая ей на ноги калоши—прежде я никогда не надѣвалъ никому,—я корчилъ такую свирѣпую физіономію, что она сказала, однажды:

— Я не позволю вамъ больше надѣвать калоши.

— Почему?

— Вамъ непріятно это.

— То есть?

Я хотѣлъ говорить, но только развелъ руками. Не говорить же, что ея красивая нога вызывала во мнѣ особое ощущеніе, такое, точно огонь вдругъ разливался въ жилахъ, спиралось дыханіе, и надо было громадную силу воли, чтобы все это подавить. Какъ надо было подавлять охватывавшій меня вдругъ по-

рывъ къ ней, безумное желаніе вдругъ броситься и начать цѣловать ее, ея волосы, плечи, всю ее, прекрасную для меня въ эти мгновенія.

А иногда я ничего къ ней не чувствовалъ,—рѣшительно ничего, и отъ этого сознанія испытывалъ удовлетвореніе.

Какъ-то вечеромъ, мужъ, почти не выходившій изъ дому, уѣхалъ къ товарищу.

Мы съ ней собирались было въ театръ, но, проводивъ мужа, она сказала:

— Можетъ быть, останемся дома.

Мы остались, пили чай, разговаривали, она играла на рояли и въ полголоса пѣла.

У нея былъ нѣжный голосокъ, но очень небольшой и лучше всего выходило, когда она тихо, какъ будто про себя, напѣвала. Тогда ея головка, античная, какъ головка богини, наклонялась къ нотамъ, и глаза мягко смотрѣли.

А потомъ она сразу бросала и, вставая, говорила что-нибудь въ этомъ родѣ.

— Ахъ, какое прелестное платье я сегодня видѣла.

Начиналось описаніе платья, она оживлялась, но когда замѣчала, что это мало меня интересуетъ, говорила съ упрекомъ:

— Васъ это мало интересуетъ? А я люблю все красивое: статую, платье, выѣздъ, цвѣты... Цвѣты я люблю до безумія...

— Какіе?

— Всякіе. Больше всѣхъ чайную розу.

— Есть духи такіе.

— Изъ духовъ я люблю — омелу.

— Омелу? Съ вѣтками омелы шли во Франціи республиканцы, омела одна изъ всѣхъ растеній въ мірѣ дала свой ядъ Локи...

— Не знаю. Кто такой Локи?

— Богъ скандинавской миѳологіи...

Она помолчала и спросила:

— Вы все знаете?

— Я ничего не знаю, — отвѣтилъ я.

— Ахъ, какъ я люблю...

Я сгорѣлъ было, но она кончила:

— ... Когда ничего не знаютъ.

А потомъ она, можетъ быть, поняла, что происходило во мнѣ, и покраснѣла вдругъ, и на мгновеніе я почувствовалъ остріе ланцета въ своемъ сердцѣ.

А потомъ она стала напряженная, задумчивая, чужая...

Такъ постоянно у насъ бывало.

Какой-то прерывающійся тонъ. Появится и оборвется. Иногда долго не обрывается. Я съ своей стороны употреблялъ всѣ усилія, чтобы не прерывать его, даже и тогда, когда былъ въ полосѣ равнодушія. А она никогда не стѣсняла себя: какъ чувствовала, такъ и чувствовала. Вслѣдствіе этого получалось непріятное впечатлѣніе неожиданнаго перерыва. И не скоро потомъ она возвращалась къ тому, чего такъ хотѣлъ я. Возвращалась какъ будто помимо своей воли. Смотрѣла недоумѣвающими, спрашивающими глазами. Я приходилъ въ отчаяніе, что не понимаю ея настроенія и самъ порчу его. Какъ будто вдругъ я терялъ ее, и страхъ овладѣвалъ мной, оттого что я больше не найду ея. И, когда я терялъ всякую надежду, я вдругъ находилъ ее и съ ней все, чего хотѣлъ я, все, что въ ней было дорогого мнѣ, и въ размѣрахъ большихъ, чѣмъ прежде. Въ такія мгновенія я хотѣлъ бы цѣловать хоть край ея платья или упасть на колѣни и молиться.

И, конечно, не только ничего подобнаго не дѣлалъ, но употреблялъ всѣ усилія, чтобы она не догадалась, что происходило во мнѣ и, догадавшись, не лишила бы меня навсегда права быть съ ней, говорить, чувствовать радость и восторгъ отъ ея присутствія.

И въ то же время, если бы меня спросили или если бы я самъ себя спросилъ, что я чувствовалъ, какъ я чувствовалъ ее, я долженъ былъ бы отвѣтить: никакъ.

[illegible] ощущеніе сильное отъ ея лица, [illegible] фигурки.

[illegible] ея, и я не только не могъ собрать въ [illegible] черты ея лица, но не чувствовалъ даже ея, [illegible] какъ человѣка.

Она улетучивалась вся безъ остатка.

Въ тотъ вечеръ, когда мужа не было дома, она вдругъ спросила меня: думаю ли я, что она любитъ своего мужа?

— Не знаю.

— Развѣ можно любить больное, умирающее тѣло? — спросила она, прямо смотря мнѣ въ [illegible]. — Два года уже онъ такъ боленъ... Подозрительный, ревнивый.

— Онъ ревнивый?

— О, онъ другой тамъ въ своей [illegible]. Я больше не сплю съ нимъ...

Я молчалъ.

— Я давно его не любила... И [illegible] его уже любила...

— И теперь любите? — спросил [illegible].

— На этотъ вопросъ я не отвѣчу.

«И не надо». — подумал [illegible] разъ обидѣлся. Конечно, я старался скрыть [illegible] обиду. Тѣмъ легче это было, что [illegible] играть и играла [illegible] мужа.

Онъ такъ несчастный тяжелобольной, [illegible] его было. Нитья Александровна [illegible] и мы съ нимъ просидѣли [illegible] долго. [illegible] о своихъ значительныхъ [illegible] временахъ своей [illegible] тѣмъ.

II.

На другой день, когда я обычным [illegible] пришелъ [illegible] къ [illegible] [illegible] мнѣ:

— Сегодня ночью онъ хотѣлъ, чтобы я опять любила его. Это ужасно...

Я все еще дулся на нее и сказалъ равнодушно:

— Отчего вы не разведетесь?

Но развѣ можно бросить его въ такомъ положеніи? Начать съ того, что у него никакихъ средствъ, онъ страшно самолюбивъ... Я разъ попробовала намекнуть на то, чтобы положить его въ больницу — что было...

Я думалъ: «ты холодная».

Она промолчала и тихо про себя сказала:

— Я такъ устала.

И вдругъ она положила мнѣ голову на плечо, и мнѣ показалось, что она плачетъ. Я взглянулъ: она дѣйствительно плакала. Слезы длинныя, безъ перерыва текли изъ глазъ и лились по лицу, по носу, на пальто ея.

Я схватилъ ее за руки, приблизилъ свое лицо къ ней и страстно заговорилъ:

— Наталья Александровна, я отдалъ бы жизнь, чтобы вы не плакали, чтобъ только видѣть васъ счастливой, веселой...

Мнѣ хотѣлось обнимать, цѣловать ея лицо, руки, я смотрѣлъ и смотрѣлъ ей въ глаза, чувствуя ее близкой, дорогой себѣ, такой дорогой.

— Наталья Александровна, если бы вы заболѣли, если бы вы умирали сто лѣтъ, я бы обожалъ васъ еще сильнѣе оттого. Въ томъ-то и дѣло, что вы не любите его, и не оттого, что онъ боленъ, а оттого, что и раньше вы его не любили...

— Я не знаю... Онъ былъ умный, блестящій, самый блестящій между всѣми товарищами: я выбрала его... И я думала тогда, что люблю его...

— Но потомъ, когда вы полюбили другого?

Она утомленно пожала плечами:

— Я думала, что люблю этого другого...

Мое сердце забилось при этомъ такъ, точно хотѣло вырваться, и я замолчалъ.

И вдругъ я вспомнилъ, что я сказалъ только что ей: вѣдь я въ любви ей объяснялся. А она: «я думала, что люблю этого другого»... только думала... Я замеръ и боялся дышать. Было жутко потому, что я чувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ, что она уже моя. «А что мы будемъ дѣлать съ мужемъ и тѣмъ другимъ? И сколько ихъ еще будетъ»? вдругъ промелькнуло въ моей головѣ. Я знаю, что я не злой и не циничный, и растерялся, откуда во мнѣ эта мерзость; на любовь, довѣріе отвѣчать цинизмомъ. Еще не владѣть и уже не уважать. Я выругалъ себя, какъ могъ, и прогналъ свои дурныя мысли.

И тогда она, положивъ свою руку на мою, тихо сказала:

— Теперь мнѣ такъ хорошо.

Потому что вы слышали мои мысли и отвѣчаете на нихъ, и я цѣлую вашу руку.

Рука была въ перчаткѣ и я поцѣловалъ перчатку, а она сжала мою руку и быстро опять спрятала свою въ муфту.

Она испуганно проговорила:

— Больше ничего не надо.

Не надо. Такъ не надо, что я согласился бы теперь очутиться въ университетѣ, съ товарищами, гдѣ угодно, только не съ ней. Я даже больше не думалъ о ней. Какъ будто ничего и не произошло.

И она себя такъ держала. Такъ держали мы себя и дома, пріѣхавши. И все опять пошло такъ, какъ будто ничего и не было. Только тамъ гдѣ-то въ тайникахъ души мы знали, что было,—было, но брошено въ бездну. И не я послѣ словъ «пока больше ничего не надо» полѣзу въ эту бездну за тѣмъ, что уже было.

IV

Мы опять ѣздили въ театръ, на выставки, катались, по вечерамъ вмѣстѣ съ мужемъ читали громко, она играла, пѣла, переходя всегда рѣзко и неожиданно отъ одного настроенія къ другому.

Такъ и вырисовывались для меня два человѣка въ ней: нѣжная, ласковая, живое лицо; или холодная, сама незнающая, чего она ищетъ, чего хочетъ, готовая, какъ перчатки, мѣнять тѣхъ, кого любитъ. А можетъ быть, и просто пустая, легкомысленная и даже порочная. Но въ общемъ тянуло къ ней, и съ ея стороны чувствовалось то же. Однажды, мы неожиданно встрѣтились съ ней на улицѣ и оба такъ обрадовались, въ такой дѣтскій восторгъ пришли, такъ не боялись прятать то, что было у насъ на душѣ, что пошли дальше, держась за руки.

— Сдѣлайте мнѣ подарокъ, — зайдемъ и купимъ розу.

Мы зашли въ цвѣточный магазинъ, и я купилъ ей большую чайную розу. Я хотѣлъ красную, но она любила чайныя: желтыя съ нѣжно-розовымъ налетомъ на лепесткахъ.

— Но морозъ ее убьетъ,—замѣтилъ я.

— Нѣтъ, я спрячу ее на груди. И она отошла въ уголъ, а когда спрятала, подошла и весело сказала:

— Какая она холодная!

И отъ мысли, что роза касается теперь ея груди, кровь хлынула мнѣ въ голову, мои глаза вспыхнули, вспыхнули и ея, и мгновеніе мы безъ страха быть узнанными другъ другомъ, смотрѣли одинъ другому въ глаза.

О, какъ весело возвращались мы домой.

И когда пришли, и она, уйдя къ себѣ, возвратилась торжествующая, съ свѣжей розой въ рукахъ, и въ доказательство, что она не замерзла, протянула ее мнѣ, я взялъ эту розу и съ восторгомъ поцѣловалъ ее. Я смотрѣлъ ей въ глаза, и ея глаза вспыхнули, какъ будто сказали «а-а», и замерли въ такомъ же восторгѣ.

И ея руки протянулись ко мнѣ, вся она, какъ порывъ, потянулась, и я прильнулъ къ ея свѣжимъ отъ холода губамъ. Не отрывая своихъ глазъ, я видѣлъ замерзшую бездну въ ея глазахъ, видѣлъ то, чего не

видѣлъ раньше никогда, не видѣлъ, не ощущалъ и не зналъ.

А она, освободившись, говорила, задыхаясь:

Но развѣ я виновата, что люблю все прекрасное! И посмотри, посмотри, развѣ можно не любить тебя.

И она повернула меня къ зеркалу, мы смотрѣли въ него и смѣялись тамъ другъ другу, и опять я цѣловалъ ее такъ, что закружилась голова, и мы сѣли съ ней на стулья, какъ разъ въ то время, когда раздались знакомые шаги ея мужа въ туфляхъ.

Онъ вошелъ. Она спокояно поправляла прическу, а я держалъ въ рукахъ чайную розу и не чувствовалъ никакого угрызенія совѣсти.

Онъ остановился въ дверяхъ, окинулъ насъ холоднымъ взглядомъ и съ горечью въ голосѣ, съ непріятной улыбкой сказалъ:

— Сколько розъ...

— Одна,—сухо отвѣтила она.

— А на щекахъ...

— Глупости ты говоришь,—гуляй, и у тебя будутъ такія же.

— Не будутъ.

Холодомъ смерти пахнуло.

— О, какъ это все ужасно...

И, наклонившись къ столу, опустивъ голову на руки, Наталья Александровна зарыдала, вздрагивая, а мы,—мужъ и я,—стояли, пока она, вскочивъ, не ушла къ себѣ въ спальню, а мы, въ свою очередь, пустые, какъ съ похоронъ, разошлись каждый въ свою комнату.

Я ходилъ по комнатѣ, смотрѣлъ на розу и думалъ: «Морозъ все таки убилъ ее».

V

Мы приняли рѣшеніе: мы любимъ,—мы женихъ и невѣста, но до смерти этого несчастнаго ничего, что создавало бы фальшивое положеніе.

И не потому, что мы признавали какія-то его права, но потому, что не хотѣли унижать своего чувства.

Но сами собой отношенія наши все таки становились все ближе и ближе.

Иногда она, положивъ мнѣ руки на плечи, говорила, смотря мнѣ въ глаза:

— Но это такъ тяжело...

— И здѣсь одно утѣшеніе,—отвѣчалъ я,—что будь это иначе, было бы еще тяжелѣе. Однажды, она сказала:

— А если такъ протянется еще два-три года... Два уже прошло... И я стану старухой, которую никто больше любить не захочетъ...

— Я вѣчно буду любить.

— Ты какой-то странный. Ни съ чѣмъ считаться не хочешь. Есть цѣлая наука физіологія, въ ней вѣчности нѣтъ. Пять—десять лѣтъ—и конецъ и молодости и вѣчности. Какъ будто ты дѣвушка, а я мужчина... Какой полный контрастъ между тобой и тѣмъ другимъ...

— Ну, и иди къ нему,—тихо отстраняя ее, отвѣчалъ я.

А она осыпала меня поцѣлуями и говорила:

— Какъ я люблю тебя, когда ты такъ обидишься вдругъ...

— Я не обижаюсь, но, можетъ быть, контрастъ дѣйствительно и большой: я люблю тебя, для меня ты гдѣ-то тамъ вверху... я стремлюсь къ тебѣ... Унизить тебя—равносильно для меня ну... смерти... А тотъ, другой, можетъ быть, искалъ только чувственнаго, и ты сама сознавала непрочность и ушла.

Она тихо отвѣтила:

— Онъ ушелъ... Я слишкомъ легко отдалась ему, и онъ не дорожилъ мной...

Она разсмѣялась:

— Теперь онъ поетъ другое...

— А ты?

— Я уже сказала ему, что люблю тебя...

— И несмотря на это, онъ продолжаетъ надѣяться? Если бы, когда-нибудь ты меня разлюбила?

— Ахъ, какой ты смѣшной... Какой ты еще ребенокъ...

— Но тебѣ, очевидно, доставляетъ удовольствіе, что онъ еще любитъ тебя?

— Да, конечно. Это меня удовлетворяетъ, и я счастлива, что люблю тебя, и онъ это видитъ, и я могу мстить ему теперь.

— За что?

— За то, что онъ считалъ себя такимъ неотразимымъ, за то, что считалъ, что ни я никого, ни меня никто полюбить больше не можетъ... А полюбилъ ты, полюбилъ чистый, какъ хрусталь, идеалистъ, человѣкъ, который готовъ молиться на меня. И когда? Когда я начинала приходить совсѣмъ въ отчаяніе, что навсегда стану его игрушкой. А-а. Ты представить себѣ не можешь, что ты для меня, какъ безумно я люблю тебя!

И прежде, чѣмъ я успѣвалъ удержать ее, она уже стояла предо мной на колѣняхъ, прекрасная, какъ мадонна, съ сверкающими глазами, и губы ея, какъ молитву, шептали:

— И ты еще сравниваешь себя съ тѣмъ, унижаешь себя...

Никакое перо не передастъ ея взглядъ, и какъ любилъ я. Еще одинъ такой взглядъ ея я помню... И въ очень необычной обстановкѣ. Мы шли съ ней подъ руку въ театральномъ корридорѣ во время антракта. Вдругъ она сжала сильно мнѣ руку, и когда я оглянулся на нее, она, забывъ всю окружающую насъ обстановку, смотрѣла на меня такими же восторженными глазами. Я невольно наклонился къ ней и потонулъ въ ея взглядѣ.

— Ѣдемъ домой! Я не могу больше здѣсь оставаться... Хочу тебя одного видѣть, любить хочу... Ѣдемъ ужинать куда-нибудь...

Но я поборолъ себя и уговорилъ ее ѣхать ужинать домой.

Дорогой она огорченно спрашивала:

— Отчего ты такой чистый?

Такіе ея вопросы всегда вызывали во мнѣ безсознательную тревогу души.

— Наташа, моя дорогая, со всякой другой я не былъ бы чистымъ... Но заставить тебя послѣ неосторожнаго шаго переживать потомъ тяжелое неудовлетвореніе...

— Зачѣмъ я не такая, какъ ты?

Она устало положила мнѣ голову на плечо и замолчала.

А я что-то долго и много говорилъ.

— Ты знаешь,—перебила она меня,—мы сегодня въ театрѣ его встрѣтили.

— Гдѣ? Когда? Отчего ты мнѣ его не показала?

— Но я сжала тебѣ руку, а ты такими глазами посмотрѣлъ на меня, что я забыла все на свѣтѣ...

VI

Былъ день Новаго Года. Скучный день визитовъ на родинѣ, но здѣсь, въ столицѣ, гдѣ у меня никакихъ знакомыхъ, было еще скучнѣе.

Скучала и Наташа и шепнула утромъ:

— Часа въ три уѣдемъ за городъ и будемъ тамъ гдѣ-нибудь обѣдать...

Гдѣ обѣдать?

Я не зналъ, гдѣ обѣдаютъ, какъ обѣдаютъ,—зналъ только, что третья тысяча, вчера полученная, лежала у меня въ боковомъ карманѣ.

Нашъ кучеръ назвалъ намъ нѣсколько ресторановъ, на одномъ изъ нихъ мы остановились и поѣхали.

И она, и я были въ очень плохомъ настроеніи и всю дорогу молчали.

Я не зналъ, чего она хотѣла, но зналъ хорошо, чего я не хочу, зналъ и чувствовалъ, что то, чего я не хочу, сегодня случится.

Мы вошли въ отдѣльный кабинетъ, и я спросилъ карточку.

Она наклонилась черезъ мое плечо и сказала:

— Помни, что сегодня нашъ первый Новый Годъ, и если ты угостишь меня шампанскимъ, я ничего не буду имѣть противъ.

Она отошла къ окну, возвратилась и, смотря мнѣ въ упоръ, сказала:

— И я заставлю тебя пить сегодня.

Кровь пришла мнѣ къ головѣ, и я, какъ во снѣ, отвѣтилъ:

— Ну, что жъ я буду пить.

Длинный обѣдъ тянулся очень долго. Дверь поминутно отворялась и затворялась: вносили сперва закуски, потомъ подавали что-то. Подали шампанское, и мы бокалъ за бокаломъ осушали его.

Мысль [illegible] преслѣдующіе [illegible] цѣлъ.

[illegible] мнѣ:

— [illegible] и больше не приходитъ.

[illegible] я повернулся къ [illegible] — быстрѣе я не могъ [illegible] — [illegible]:

— [illegible] не приходитъ больше.

— [illegible].

[illegible] къ двери. [illegible] что-то [illegible] [illegible] и [illegible] [illegible] руку [illegible] [illegible] [illegible]

поцѣловать, еще и еще поцѣловать, пока не встрѣтилъ я ея глазъ. Въ эти глаза, какъ въ двери, я вошелъ и позналъ, наконецъ, куда вели эти двери...

Мы уѣхали изъ ресторана. Я былъ въ какомъ-то туманѣ.

Мы не поѣхали домой. Мы долго ѣздили по островамъ, заѣхали въ другой ресторанъ, взяли кабинетъ съ каминомъ и просидѣли тамъ до двухъ часовъ ночи.

Домой пріѣхали въ три, намъ отворилъ мужъ, и лицо его было такое желтое и съ оскаленными зубами, такое страшное, какъ будто онъ уже изъ могилы пришелъ, чтобы привѣтствовать насъ, новобрачныхъ, и свѣтить намъ теперь своей желтой свѣчкой.

Все было такъ ясно, что мы, ни слова не сказавъ другъ другу, разошлись по своимъ комнатамъ.

VII

Мы стали проводить ночи у меня въ комнатѣ. Она приходила, когда всѣ въ домѣ ложились спать, и уходила съ первыми лучами дня. И я всегда въ лихорадочномъ ожиданіи слышалъ, какъ она шла ко мнѣ: сперва отдаленный скрипъ пола гдѣ-то въ корридорѣ, потомъ ближе, въ передней, и каждый разъ послѣ этого тишина,—это она стоитъ, затаивъ дыханіе, и ждетъ: не выглянетъ ли мужъ? Послѣдній скрипъ двери, и въ мертвомъ просвѣтѣ ночи что-то бѣлое торопливо бросается ко мнѣ въ кровать.

Она точно пьянѣла.

— Ахъ, милый, милый, развѣ это не прекрасно? Зажги свѣчку... Будемъ смотрѣть другъ на друга. Вотъ такъ...

Она лежала, облокотившись на голый локоть, и смотрѣла на меня. Глаза ея сіяли, и вся она была вдохновенная и прекрасная.

— Сбрось же и ты это одѣяло! Развѣ у насъ не красивыя тѣла, чтобы мы ихъ закрывали! Ахъ, какой

ты! Тебя испортило воспитаніе. Древніе греки любили тѣло. И что можетъ быть прекраснѣе ихъ статуй? Когда мы будемъ во Флоренціи, я тебѣ покажу Венеру. Но какъ ты слушаешь меня? Тебѣ непріятно?

Однажды, она въ такую минуту сказала:

— Ты полная противоположность съ тѣмъ... другимъ... Ахъ, какъ это у него... Для него это былъ прямо культъ...

— Уходи! Иди!

И прежде чѣмъ она пришла въ себя, я заставилъ ее встать, сунулъ ей ея вещи въ руки и выпроводилъ за дверь.

Она сперва растерялась, а потомъ впала въ отчаяніе ребенка и горько рыдала, умоляя меня:

— Не прогоняй, не прогоняй, прости меня, прости...

Но я былъ неумолимъ.

Я не помню, скоро ли я заснулъ, вѣроятно, скоро и безъ мыслей. Я проснулся, когда уже было совсѣмъ свѣтло. Положивъ руки на кровать и на нихъ голову, стоя на колѣняхъ, спала Наташа. Ея волосы были распущены, въ позѣ, усталомъ лицѣ были покорность и страданіе.

— Наташа, Наташа, прости меня!

Она открыла глаза, и слезы полились по ея щекамъ. Тихо, не двигаясь, она шептала:

— Не прогоняй.

— Наташа, милая, ты можешь меня прогнать, а я развѣ уйду когда-нибудь отъ тебя!

— Не прогоняй,—упрямо повторяла она, страстно цѣлуя мои руки. Ты не знаешь, какъ ты мнѣ дорогъ, какъ нуженъ. Ты мой свѣтъ, я молюсь на тебя. Ты мой повелитель, я твоя рабыня: не прогоняй... Бей меня, рѣжь, но не прогоняй.

— Но Богъ съ тобой, Наташа... уже поздно, насъ увидятъ...

— Мнѣ все равно...

Въ тотъ день на выставкѣ, стоя подъ руку со мной около одной картины, она, прижавшись ко мнѣ, шептала;

— О, если бы ты зналъ, какой ты былъ красивый сегодня ночью. Изъ твоихъ глазъ пламя сверкало. Я обезумѣла отъ восторга, ужаса, любви... Я только сегодня поняла, кто ты для меня, какъ можешь ты заставить любить себя. Да, заставить! И ты можешь и долженъ!

VIII

Разъ ночью вдругъ раздалось шлепанье туфель, и въ полуоткрытую дверь изъ передней проникла полоска свѣта.

Въ одно мгновеніе Наташа соскользнула и исчезла въ гостиной, дверь въ которую никогда на запиралась. Я же такъ и остался, успѣвъ только закрыть глаза, когда мужъ со свѣчкой появился въ дверяхъ.

Сердце мое сильно билось въ груди. Несмотря на закрытыя вѣки, я, казалось, видѣлъ его: страшнаго, съ оскаленными зубами.

Мгновенія казались вѣчностью, казалось, на мнѣ онъ лежитъ и душитъ, и ужасъ охватывалъ меня, и не могъ я вздохнуть, хотѣлъ крикнуть, вскочить и броситься на него.

Когда онъ ушелъ, наконецъ, я долго лежалъ съ широко открытыми отъ ужаса глазами.

На другой день мнѣ стоило неимовѣрныхъ усилій заставить себя выйти къ чаю.

Онъ посмотрѣлъ такъ, точно плюнулъ мнѣ въ лицо. Какъ можетъ смотрѣть только умирающій.

И все мое существо задрожало отъ безумной жажды никогда не видѣть больше этого человѣка.

— Я сегодня уѣзжаю.

Наташа, до этого мгновенья равнодушная ко всему, такъ и остановилась съ недоѣденнымъ кускомъ. Она поблѣднѣла и смотрѣла на меня растерянно и испуганно.

Потомъ, быстро проглотивъ мѣшавшій ей кусокъ, она сказала, вставая:

— Я прошу васъ на одну минуту.

Мужъ остался, а мы ушли въ гостиную.

— Что это значитъ?

— Наташа, я больше не могу. Большаго униженія я никогда не переживалъ. И теперь, чѣмъ дольше, тѣмъ ужаснѣе будетъ. Очевидно, что все это жжетъ его каленымъ желѣзомъ, и онъ потерялъ всякое самообладаніе. Человѣкъ принципіальный дошелъ до того... Ты посмотри на его лицо... Нѣтъ, Наташа, мы растеряемъ все святое... въ концѣ концовъ, мы кончимъ тѣмъ, что станемъ всѣ трое одинаково ненавидѣть другъ друга. Нельзя, Наташа...

— Перейдемъ отсюда...

Мы перешли въ мою комнату.

Она просила, умоляла, плакала.

— Ну, въ такомъ случаѣ и меня возьми съ собой.

— Наташа, это невозможно.

IX

Я живу въ своей новой комнатѣ.

Пусто и скучно. Съ Наташей видимся рѣдко. Ничего не перемѣнилось, но... что-то точно растетъ между нами. И пусть...

Мужа перевезли въ больницу для операціи. Его предупредили, что операція онъ почти навѣрное не выдержитъ. Настоящъ.

Наташа нняла хорошенькую квартирку въ три комнатки: столовая, кабинетъ и спальня.

— Я думаю, сказала она, показывая на кабинетъ,— что это будетъ твоя комната.

— Какъ мужъ?

— Его дни сочтены.

За недѣлю передъ Пасхой Наташа пріѣхала и сообщила о смерти мужа.

— Я съ похоронъ...

— Умеръ... Итакъ свободны...

Она молча положила голову на мою грудь и задумалась.

Что я чувствовалъ? Не все-ли равно теперь... Я женюсь, уѣду съ ней въ провинцію...

— Ты переѣдешь ко мнѣ или наймешь новую квартиру?

— Что скажутъ, Наташа? Не успѣли похоронить... потерпи: не долго, да и экзамены...

— Какъ хочешь...

Мы совсѣмъ перестали ссориться съ Наташей.

— До Пасхи зайдешь?

— Заниматься надо, Наташа... и... память его, такъ сказать, почтимъ...

— Какъ хочешь... Можетъ быть, къ заутрени пойдемъ?

— Если не попаду къ заутрени, то на весь первый день приду.

X

На первый день я пришелъ очень рано. Наташа не ждала меня и встрѣтила встревоженная, оживленная.

— Что это?

На столѣ лежали брилліантовая брошка, браслетъ.

— Представь себѣ,—растерянно заговорила она,— я только что получила вотъ эти подарки отъ того... другого... онъ, знаешь, такой жалкій... какъ сумасшедшій.., прислалъ и умоляетъ принять въ память прошлаго вотъ это и это кольцо.

Она показала кольцо на мизинцѣ.

Точно налетѣвшимъ вдругъ вихремъ засыпало глаза, сорвало шляпу.

— Одно изъ двухъ: или эти подарки вы принимаете, и я ухожу,—или вы отсылаете ихъ сейчасъ же съ посыльнымъ ему обратно, и я остаюсь.

— Но, послушай...

Я взялся за шапку.

Она бросилась ко мнѣ, схватила за руку и потащила къ дивану.

Посадила и сама, сѣвъ рядомъ, начала говорить.

Я не слушалъ. Кровь бурлила, застучала въ вискахъ, въ ушахъ. Когда она, наконецъ, кончила, я, вставъ, ледянымъ голосомъ спросилъ:

— Угодно отправить это назадъ?

Тогда она закричала:

— Ты злой, злой!

— Угодно отправить вещи?

— Эгоистъ, отвратительный эгоистъ, со своей химерной вѣчной любовью. Глупая, гнусная вѣчная любовь! Изъ-за нея можно оскорблять безнаказанно, превращать въ адъ настоящее и самому превратиться въ концѣ концовъ въ отвратительную куклу изъ музея съ бабушкиной прописью въ рукахъ: «что скажутъ». Несмотря на твою молодость, отъ тебя уже теперь вѣетъ такой затхлостью, какъ будто тебѣ уже двѣсти, триста, тысячу лѣтъ.

— Можетъ быть, довольно на сегодня, Наташа?— сказалъ я, опять беря шапку.

Она молчала, а я уходилъ.

Она вскочила и крикнула, когда я былъ уже въ дверяхъ:

— Но я вѣдь отправляю же эти вещи!

Раздраженіе, злость въ голосѣ... И я ушелъ... Она крикнула:

— Ну, и убирайся!

XI

И вотъ я дома и въ отвратительномъ расположеніи духа, какъ человѣкъ, собравшійся совершенно иначе провести свой день.

Теперь весь этотъ день въ моемъ распоряженіи. И прежде такъ бывало, но отъ меня зависѣло, какъ распорядиться имъ. А теперь... теперь я хотѣлъ провести этотъ день съ ней.

А она, можетъ быть, проведетъ его... проведетъ? Неужели она способна на это?.. кто она?

Я стоялъ передъ окномъ и напряженно сквозь окна смотрѣлъ на улицу. Мокрый весенній снѣгъ большими хлопьями падалъ на землю, и по улицамъ торопливо проходили облѣпленныя снѣгомъ бѣлыя, мохнатыя фигуры. Вотъ такъ праздникъ. Хорошо бы очутиться теперь на родинѣ: тамъ давно тепло, солнце, тамъ забыть всю эту сѣрую прозу.

Нельзя забыть. Болитъ, и мысль напряженно работаетъ.

Почему не пойти къ ней?

Я оставляю безъ отвѣта этотъ вопросъ. Уподобиться тому? Нѣтъ ужъ... Она оскорбила, она, если захочетъ, найдетъ дорогу.

Три дня: нѣтъ Наташи.

Можетъ быть, я и не правъ. Во всякомъ случаѣ неприлично, безъ попытки выяснить, такъ рвать отношенія. Я нахожу выходъ. Я иду къ Наташѣ въ то время, когда знаю, что ея нѣтъ дома.

— Скажите Натальѣ Александровнѣ, что заходилъ.

Ну, теперь съ моей стороны сдѣлано все: потянетъ ко мнѣ — придетъ. Нѣтъ, — значитъ конецъ. Конецъ, такъ конецъ.

Конецъ или не конецъ? Нѣтъ, нѣтъ, не конецъ. Какой конецъ, когда весна начинается, та весна, которую такъ ждала Наташа. Весна пока еще тамъ вверху, въ нѣжно голубомъ небѣ, въ прозрачномъ воздухѣ, въ просвѣтѣ розовыхъ сумерекъ, когда зажигается въ небѣ первая звѣзда, яркая, крупная, какъ капля росы. И горитъ она вся восторгомъ, вся трепещущая, какъ жизнь, со всѣми ея переливами.

О, недаромъ Наташа любитъ такъ весну.

Осень на югѣ, весна на сѣверѣ.

Могучая, стремительная въ своемъ волшебномъ порывѣ. Такъ понятенъ онъ: радость жизни сильнѣе переживаешь, вырвавшійся изъ оковъ. И чѣмъ тяже-

[illegible] тѣмъ сильнѣе порывъ этой радости.

Утро. Я растворяю окно: тепло, совсѣмъ тепло.

Легкій туманъ быстро таетъ въ нѣжныхъ лучахъ солнца. Какъ паутиной, уже окутано дерево молодой листвой. Звонкій гулъ несется — какъ радостный крикъ весны. Но гдѣ же, гдѣ въ этой радости жизни Наташа?

И я жадно ищу ее глазами среди идущихъ по улицѣ.

Или же, Наташа! И я не стану больше терять мгновеній для вѣчности. Вѣчность слишкомъ тяжелый молотъ: онъ дробитъ мгновенья, а въ нихъ ты, Наташа, въ этихъ чудныхъ, такъ быстро проносящихся мгновеніяхъ.

Нѣтъ Наташи!

Двѣ недѣли уже прошло, и я угрюмо стою и жду напряженно: каждый часъ, каждую минуту, каждую секунду. Не придетъ? Неужели никогда не придетъ? Звонокъ! Она!

Она опять передо мною.

И никогда она не была такою ослѣпительно прекрасной. Бѣлое платье, черная ленточка на шеѣ. И бархатъ ленточки спорилъ съ бархатомъ глазъ.

Она протягивала мнѣ розу: яркую красную розу, какъ румянецъ свѣжаго нѣжнаго лица моей Наташи. Я [illegible]

[illegible] начать цѣловать... но. Боже мой [illegible] — Я вырвалъ изъ ея рукъ [illegible] И нетерпѣливо [illegible] глаза ея смотрѣли въ [illegible] сливаясь съ лучами. И [illegible] — въ [illegible] первый, потрясающій [illegible] мгновенья разлуки съ [illegible]

[illegible] другомъ...

Но я ничего не слышу: я мертвый, мертвый и со всей силой смерти только одно это и сознаю. Нѣтъ еще: я сознаю, что я люблю ее, о, какъ безумно люблю!

Ушла?! Сперва плакала... выплакала всѣ свои слезы и ушла.

Но догнать же, закричать, умолять, разсказать, наконецъ, все, сказать, что люблю, безумно люблю и только теперь понимаю это.

Нѣтъ голоса, нѣтъ словъ, я стою безъ движенія, съ чѣмъ-то больнымъ тамъ внутри, умирающимъ, мертвымъ.

XII

Я не знаю, сколько времени я пробылъ въ такомъ состояніи. Какъ будто я много шелъ, несъ тяжелую ношу и невыразимо усталъ.

Спать! И я спалъ часовъ двадцать... Мгновеніями просыпался, и что-то черное опять и сразу охватывало меня, и опять я спалъ и спалъ тяжело безъ сновъ.

Было свѣтло, когда я опять открылъ глаза.

Въ то окно я выбросилъ розу. Я открылъ окно и искалъ глазами эту розу, но она упала на улицу и развѣ можетъ сохраниться тамъ, гдѣ прошли тысячи? Конечно, нѣтъ, это невозможно, но гдѣ же роза? Вотъ она на крышѣ подъѣзда, такая же красная, вся въ веселыхъ лучахъ солнца, въ блесткахъ росы—сверкающая, свѣжая!

Эту розу я досталъ, чтобы отнести ее къ Наташѣ.

XIII

Ахъ, какъ долго я несу эту бѣдную, теперь уже темную, засохшую розу.

Третья ночь, какъ я брожу здѣсь на островахъ въ тѣни деревьевъ, въ воспоминаніяхъ о ней, самъ тѣнь въ этой бѣлой ночи.

Мои ноги дрожатъ, меня тошнитъ, кровь прилила къ больной головѣ, а кругомъ тишина ночи, непод-

вижная вода и зелень, и все какъ сонъ въ этой бѣлой ночи, сонъ на яву. И такъ свѣтло, что можно читать, и ярче выступаютъ исписанныя страницы пережитого, и, пригнувшись, одиноко я читаю ихъ.

Да, легко сказать себѣ: это пустяки, это ничтожно, а это велико и мудро. Жизнь сорветъ наживу, и удочки мудраго останутся пустыми, а нажива пустяка приманитъ жертву. Ну что жъ, и пусть... Пусть это будетъ ничтожно, какъ сама жизнь: моя, другихъ...

Я, кажется, немного заснулъ... или сознаніе отлетѣло и возвратилось такъ же быстро, какъ быстро скользнула и скрылась въ вѣчность эта короткая бѣлая ночь.

Сонъ или на яву это было?

Мы опять были съ ней вмѣстѣ. Какъ прежде, и я радостно говорилъ ей:

— Такъ, значитъ, все, какъ было... Зачѣмъ же я выбросилъ эту розу?

А она все твердила:

— Но вѣдь ты любишь... любишь?

И я еще слышу ея голосъ.

Ахъ, какой сильный ароматъ деревьевъ въ этой влагѣ утра. Роса, и въ первыхъ лучахъ сверкаютъ ея капли на изумрудной зелени, и нѣжно и звонко пробуютъ голоса свои птицы.

Такъ тихо, спокойно.

Конечно, люблю.

XIV

Это я стою у квартиры Наташи и звоню?

И я радостно отвѣчаю себѣ: да, да я! Какъ и тотъ другой? Да, да. Я едва слышу смущенную горничную:

— Пожалуйте въ кабинетъ: барыня сейчасъ выйдетъ.

Въ кабинетъ?! Отчего опять такъ быстро мѣняется мое настроеніе? Какъ бьется сердце! Этотъ ароматъ

цвѣтовъ. Тотъ букетъ. Она всегда любила цвѣты Она вся въ этомъ кабинетѣ, и все прошлое въ немъ. Прошлое?!

Я вижу въ зеркалѣ мое лицо. Зеркало не узнало меня. Я самъ не узналъ бы въ немъ больше себя,— когда то властнаго и сильнаго побѣдителя ея, ея мыслей, чувствъ, желаній, всего этого кабинета, для меня приготовленнаго, этого зеркала, которое теперь такъ холодно говоритъ мнѣ «чужой». Чужой?! Мужскіе шаги по корридору... надѣлъ калоши, шумъ отворившейся двери. Шумъ этихъ кожаныхъ калошъ тамъ уже на каменной площадкѣ лѣстницы. И нѣсколько разъ машинально, какъ удары молота, я повторяю: «ушелъ, ушелъ», пока освѣщается предо мною вся мучительная истина.

Теперь и я могу уйти. Нѣтъ! Хотя разъ, я сяду за этотъ, для меня приготовленный, столъ, и что-нибудь напишу. Но я не могу писать. И надо скорѣе уходить, если я не хочу потерять сознаніе. И я осторожно, на носкахъ, чтобы не скрипнулъ полъ, торопливо прохожу въ переднюю, на площадку и черезъ двѣ ступеньки спускаюсь по лѣстницѣ.

БОР. ЗАЙЦЕВЪ.

ПОЛКОВНИКЪ РОЗОВЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Наконецъ-то свернули съ шоссе, городъ остался сзади, за рѣкой, и колеса телѣжки сразу въѣхали въ землю,—теплую, чуть пыльную. Вотъ онъ и вѣтеръ—въ лицо пышетъ, подъ нимъ такъ чудесно летѣть впередъ, все впередъ, къ милому Розову. «Ходу, ходу, Скромная! Наддай!»

Кучеренокъ Петька и самъ не дуракъ: струной натянулъ вожжи, сидитъ, какъ влитой. Скромную выпустилъ полнымъ ходомъ,—еще чуточку и собьется на скокъ—а это ужъ позоръ: хорошій кучеръ не допуститъ.

Куда ужъ наддавать. И такъ летимъ, клубимъ пыль за собой, цѣлуетъ насъ вѣтеръ, пахнетъ вольными полями, березникомъ откуда-то и роскошно—пылью и дегтемъ. «Джонъ, Тубо! Не зрись, Джонъ, Тубо!» Джона утержать, пожалуй, потруднѣй, чѣмъ Петьку со Скромной—а у Петьки глаза горятъ. Джонъ въ сущности даже и не о н ъ, а сучка-сеттеръ, но огневая, и сейчасъ, когда ее бросаетъ въ телѣженкѣ отъ быстраго хода, она вся танцуетъ и мызгаетъ,—я знаю, чего ей хочется: сжаться комкомъ,—и потомъ р-разъ, вылетѣть стрекачемъ наискось, а можетъ и впередъ мимо Скромной и ну-ну-у, молніей по полямъ, кругами, зигзагами, или волчкомъ—должно быть, все таки мой Джонъ немножко сумасшедшій, но это ничего, я одобряю, даже жаль, у самого нѣтъ сейчасъ этихъ четырехъ упругихъ лапъ.

Нѣтъ, удержать нѣтъ возможности, гопъ! Только этого и ждала. Теперь до самаго полковника не посадишь въ телѣжку, обносится по всѣмъ овсамъ,

ржамъ, а къ охотѣ устанетъ и будетъ плестись съ высунутымъ языкомъ. Знаемъ мы эту собачью породу. Мой другъ Брецъ, кузнечный мастеръ, мохнатый охотникъ, говоритъ про Джона: «ну развѣ же можно такую же собаку держать! Вѣдь ее же нужно орясиной!»

Онъ правъ, конечно, но только тогда и насъ съ нимъ временами тоже надо орясиной.

«Шагомъ, кобылу загонишь — шагомъ!» Петькѣ бы до самыхъ будаковъ маршъ-маршемъ, какъ-бы не такъ. Оно, положимъ, если плестись трухомъ, нынѣшнюю зорю и пропустишь, пожалуй, а съ другой стороны—Господь съ ними, съ этими тетеревами, пускай клюютъ ягодки, намъ и безъ нихъ хорошо. Вотъ Ока съ лѣваго бока легла вольнымъ, зеркальнымъ тѣломъ, какъ величавая молодка. И отъ ней вѣтеръ ужъ не тотъ—древній, спокойный, великій вѣтеръ. Хорошо ей лежать въ вечерней солнечной славѣ, съ вѣковымъ боромъ на той сторонѣ, съ духомъ воли и радости, съ бѣлыми рыболовами, пѣснями плотогоновъ.

Интересно, какъ застану полковника: прошлый разъ сидѣлъ надъ сажалкой, ловилъ карасиковъ. Такъ онъ мнѣ какъ-то запомнился: въ отставной военной тужуркѣ, въ туфляхъ, недалеко отъ своей избенки. Впрочемъ, скоро ужъ и будемъ: вотъ Егорьевское, тамъ «Степановъ камень».

Други мои унялись нѣсколько: Петька все жъ таки боится со Степанова камня пускать во весь духъ, можно и шею свернуть, да и Скромная обошлась. Такъ что ѣдемъ солидно, «какъ большіе».

«Эй—эй, ягодка малинка, берегись, вѣрно оглохла?» Петька избоченился, двѣ молодухи шарахнулись въ стороны, а онъ молодцомъ мигнулъ вправо, влѣво, загорѣлымъ ихъ лицамъ: знай нашихъ!

Полковникъ сидѣлъ на крыльцѣ на корточкахъ у самовара и дулъ; свѣтъ блисталъ въ самоварѣ и обда-

валъ волной розовую со сна щеку съ сѣдыми волосиками—вдругъ подкатили мы, и Джонъ съ размаху перепрыгнулъ черезъ все—понесся по деревнѣ, взметывая пыль, а Скромная остановилась.

«Душка—вы? и я ужъ охваченъ милѣйшимъ моимъ Розычемъ, мы цѣлуемся, предо мной щетинка его усовъ, зеленый кантъ тужурки—военно-мирнолѣсной, и давно знаемые выцвѣтшіе глазки—изъ самыхъ мирнѣйшихъ. «Ахъ полковникъ, полковникъ, дай вамъ Богъ, голубчикъ, не старѣете!» «Эхе-хе-съ, это знаете ли отъ тихой жизни-съ. Я тутъ, какъ жужелица прозябаю-съ, вотъ какъ-съ. Доживете до моихъ годовъ, также удалитесь въ Монрепо».

Это правда, полковникъ процвѣтаетъ тихонечко: много лѣтъ живетъ здѣсь, снимаетъ избенку, садъ разводитъ, охотится, съ мужиками дружитъ, лѣчитъ, возится съ ребятами, и когда на деревнѣ бываютъ драки, онъ одинъ унимаетъ все. Хорошо забраться къ нему, пожить, помечтать, посмотрѣть и послушать въ поляхъ, въ лѣсахъ, на разсвѣтахъ.

И снова всѣ мы—даже Скромная, кажется, чуемъ, что здѣсь намъ вольно дышать, что тутъ мы любимъ солнце золотѣющее, вербы, тишину полковника.

«Ради Бога, полковникъ, чай на улицѣ!» Конечно, конечно. Розычъ хлопочетъ, онъ радостно взволнованъ—не хочется ударить лицомъ въ грязь, у него тоже вѣдь все есть, и медъ, и варенье. И съ горячемъ чаемъ мы ѣдимъ медъ—бѣлый, пьяный, онъ кристально капаетъ съ ложки, и тамъ, въ кружевныхъ сотахъ онъ такъ безсмертно—чистъ! «У меня нынче ульевъ четыре, вотъ посмотрите!» Воображаю его въ сѣткѣ, какъ онъ возится тамъ съ пчелами своими! Картина должно быть.

«И замѣтьте себѣ—всегда такъ: чаю не дадутъ допить пострѣлы!» Что же, каждому свое: полковнику чай пить хочется, а тутъ ужъ заявилась депутація отъ «голопузыхъ» отъ семи до десяти годовъ: «змѣя, дѣденька, обѣщались сдѣлать». «Баринъ, баринъ, дай

булочки!» Маленькія рыльца въ свѣтлыхъ волосенкахъ выглядываютъ изъ рѣшетки палисадника: надо дать. Еще эта братія любитъ сахаръ: такъ и грызутъ кусочки, какъ бѣлочки.

Но пускать змѣевъ съ трещетками — это дивно, я нахожу. «Погодите, многоуважаемые, видите, полковникъ чай пьетъ. Нельзя же старенькаго такъ каждую минуту теребить. Допьетъ — пойдетъ». Но полковникъ допилъ ужъ, перевернулъ большую свою чашку съ золотыми звѣздами вверхъ дномъ — «не отстанутъ-съ теперь, обѣщалъ!»

Знаю я эту его длинную фигуру, и высокіе сапоги, и куртку со штрипкой, и ветхіе очки. Разумѣется, вокругъ насъ скачутъ собаки, ребятенки прыскаютъ, одинъ даже на рукахъ прошелся отъ экстаза, а «дяденька» посмѣивается себѣ и идетъ, не торопясь, со змѣемъ въ рукахъ — кажется, встрѣться сейчасъ стадо бизоновъ или дикихъ ословъ — такъ же бы спокойно, съ улыбкой старческихъ глазъ прошелъ онъ среди нихъ. «Тутъ, изволите ли видѣть, бугорчикъ есть, мы оттуда чаще пускаемъ». На бугорчикѣ мы сидимъ — тс-съ, смирно, дѣтвора, полковникъ скрестилъ ноги, какъ турка, и внимательно чинитъ, придѣлываетъ хвостикъ къ змѣю. А заводить долженъ я — «голубчикъ, у васъ ноги порѣзвѣй, ублаготворите шельмецовъ!» О, да, да, ублаготворить, превосходно! Солнышко на закатѣ, поля клеверовъ — и кашкой вѣетъ и еще чѣмъ — не липы ль цвѣтутъ, или это снова соты, — а главное, воздушное какое-то вино пьянитъ, охъ, какъ опьяняетъ, хочется мчаться по вѣтру, въ дивномъ забвеніи, дальше, дальше, въ эти страны благорастворенія. Ну, ясно, змѣй взвивается, — какъ ему не взвиваться, когда здѣсь по землѣ я скачу 30 узловъ въ минуту, когда сзади летитъ дѣтвора оравой, мой Джонъ ошалѣлъ отъ простора и отъ сальтомортале, даже тяжеловѣсъ Бисмаркъ полковника пустился маршъ-маршемъ; а главное — какъ ему не летѣть, подлецу — змѣю, когда самъ бы

я улетѣлъ съ нимъ въ восторгѣ вонъ хоть къ тѣмъ небеснымъ бродягамъ, до какихъ онъ, пожалуй, и доберется. Впередъ, все впередъ, и вѣтру, пожалуйста, ярости и вѣтру.

Такъ мы бѣсимся и носимся у бугорка, на которомъ полковникъ — какъ онъ заливается тихенькимъ своимъ смѣхомъ! Змѣй ушелъ ужъ высоко въ облака, теперь его держатъ сами ребятенки, а съ другими мы просто стрекаемъ въ догонялки, и только солнце съ прежней любовью льетъ на насъ прелесть, да змѣй надъ нами паритъ — каковъ пострѣлъ? Здѣсь внизу былъ мочальный, смѣшной, а теперь братъ синевы, потрескиваетъ тамъ въ высотѣ, пощелкиваетъ — подумаешь, орлиный клекотъ, голосъ себѣ пріобрѣлъ не нашъ какой-то.

Охъ, силы больше нѣтъ, не въ моготу, — приляжемъ у полковника, полежимъ, поглазѣемъ въ небо, поболтаемъ. «Душенька, а выводки? Хе-хе, избѣгаетесь въ лоскъ, что на завтра останется?»

«Вы еще Бисмарка нынче показать обѣщались, ваше превосходительство!»

Полковникъ отираетъ потъ со лба, и видъ у него слегка неувѣренный; потомъ вдругъ улыбка засвѣчаетъ изъ самой его середки. «А я собственно и не полковникъ, всего то капитанъ-съ! Такъ ужъ, человѣкъ вы хорошій, вамъ можно сказать: всѣ меня «полковникъ», «полковникъ» — а я просто капитанъ въ отставкѣ.» Хитрый полковникъ, чрезвычайно хитрый, сколько времени меня морочилъ! А я то думаю — вонъ съ кѣмъ знакомъ — съ настоящимъ полковникомъ.

«Съ Бисмаркомъ пройтись можно, онъ дубоватъ нѣсколько, но работникъ честнѣйшій.»

Полковникъ вынимаетъ маленькую табакерочку, красный платокъ и запускаетъ въ свои многовѣковыя ноздри щепотку яду — чихъ, чихъ, это глазъ омываетъ, лучше видишь, и голова свѣтлѣй.

А ужъ ребятенки наши разбѣжались по домамъ, солнце сѣло въ тучку, смеркаться будетъ, облака взгромоздились темными клубами, и стало тише, тише подъ вечеръ: іюльскій сумракъ съ перепелами, жаркій. Вотъ звѣздочки проглянули изъ-за мохнатыхъ тучъ — не задавили бы ихъ эти медвѣди. И пьяно заструило надъ полями ночными запахами, и перепела не унимаются.

Полковникъ хвастаетъ своимъ Бисмаркомъ: кобелище четырехугольный, пойнтеръ, а вымуштрованъ здорово.

Верхнимъ чутьемъ, дрожа, тянетъ онъ по овсу къ притулившемуся перепеленку, и мы замираемъ, только овесъ чуть шуршить. «Ту-убо!» Но магическая сила заворожила его. Можно дѣлать и говорить, что угодно, онъ будетъ мертво дрожать, собачье его сердце бьетъ двѣсти въ минуту — о, чуетъ, знаетъ своего невидимаго врага, вонъ тамъ, за десяткомъ колосиковъ онъ приникъ къ межѣ... Гр-р-р... мягкій, ровный летъ, Бисмаркъ валится на землю, ждетъ выстрѣла. Мы не стрѣляемъ. Мы смотримъ, какъ легко и вольно уносится милая птица въ іюльскую мглу, вытягивая ровную прямую надъ овсами. «Какъ подвелъ! Вы замѣчаете? Шельмецъ высокой пробы!»

Бисмаркъ виновато мызгаетъ — что же, онъ сдалъ экзаменъ чудесно, стыдиться нечего — но собаки вообще стыдливы, когда ихъ хвалишь, всегда краснѣютъ.

Ночь уже, стемнѣло. Мы собираемся ужинать. «Душенька, редиску очень любите?» Конечно, прекрасная вещь. «Покажу вамъ парничекъ». Полковникъ загадочно улыбается. Въ садикѣ его, у бесѣдки, играютъ въ шашки при садовыхъ подсвѣчникахъ гости: Орефій Сильвестровичъ — Орѣшка по просту, приказчикъ изъ имѣнія, и сыроваръ Бирге. «Я этихъ идолищъ съ собой не возьму-съ, вамъ покажу, а имъ

нѣтъ; вообразите, Бирге этотъ, слонъ, третьяго дня всей своей ступнищей на мои настурціи!»

Мы съ Розычемъ потихоньку на огородъ; вотъ подъ парниковой рамой, при свѣтѣ фонарика — редиски; онѣ молодыя — молодыя, сидятъ въ теплой землѣ, всѣ распаренныя слегка и нѣжно-розовыя, какъ юныя дѣвушки. Полковникъ осторожно выдергиваетъ съ десятокъ, я упиваюсь ихъ запахомъ и запахомъ парной земли на кореньяхъ—а высоко надъ нами ужъ высыпали звѣзды, ночными легіонами. И все отъ земли до неба тихо, очень тепло, только на верху тамъ слабо рѣетъ золотая ихъ слава. Даже странно подумать: отъ насъ, отъ убогой избенки полковника, этихъ бѣдненькихъ редисокъ, Бирге и Орѣшки вверхъ идетъ бездонное; точно нѣкто тихій и великій стоитъ отъ насъ и надъ нами, наполняя все собой и повелѣвая ходомъ дальнихъ звѣздъ!

Орѣшка, кажется, обдуетъ сыровара. Больно ужъ онъ ловокъ; онъ похожъ съ лица на Гоголя, но постоянно потѣетъ, и жировая его сущность струится по лбу послѣ каждаго стакана чая. Весело и вкусно сидѣть плутоватымъ глазенкамъ на такой сочной нивѣ! А Бирге сосетъ сигаренку—«regalia capustissima»—полковникъ утверждаетъ, что это все на капустѣ,—сосетъ и поддается хитрому Орѣшкѣ. Очень ужъ хитроуменъ Орѣшка, хихикаетъ себѣ «ки-хи-хи-хи, вотъ когда я служилъ у князя Курцевича... вотъ князь Курцевичъ..» «Пф-ф-ф! Пф-ф-ф! вы вид-ѣли когда-нибудь сэлэный пэсъ? Нѣтъ, вы никогда не видѣли сэлэный пэсъ?»

Что ужъ тамъ насчетъ зеленыхъ псовъ, плохо ваше дѣло, Герръ Бирге, маслянистый Орѣшка васъ объѣдетъ, онъ ужъ объѣзжаетъ васъ, забираетъ вашу арію, въ дамки лѣзетъ. «Хе-съ! хе-съ, это какъ у князя Курцевича, быстрота, натискъ—ки-хи-и». Орѣшка залился разсыпчатымъ смѣшкомъ, лицо сіяетъ блиномъ, на носу выступили капельки, какъ Божія роса, и онъ отъ восторга сейчасъ обратится въ жирный комъ и покатится мелкимъ бѣсомъ, въ прыжечку.

Проиграли, Биргиссимусъ, проиграли! Толстая кулебяка! Хорошо бы васъ пощекотать хорошенько, выудить изъ васъ всякія ваши сыроварныя премудрости, всякихъ «сэлэныхъ пэсовъ».

Ужинаемъ мы тутъ же, на томъ самомъ столѣ, гдѣ была битва. Редиска полковничья съ масломъ—восторгъ, онъ изжарилъ еще «клетцечки»—онъ говоритъ «крючечки» и потчуетъ съ видомъ стараго кухоннаго маэстро. Орѣшка усасываетъ творогъ, Бирге взгрустнулъ что-то, видно, о проигрышѣ затосковалъ.

«Вы, хорошій мой, куражу не теряйте: этотъ Орѣшекъ безъ мыла между балясинами пролѣзаетъ, его на томъ свѣтѣ, хе-хе, какъ клетцечки поджаривать будутъ». А въ самомъ дѣлѣ, идея: поджарить Орѣшку на чертовомъ огонькѣ, воображаю, что за славный сокъ онъ дастъ! «Имъ, вообще, иностранцамъ, противъ насъ здѣсь трудно: языка не знаютъ, словно въ лѣсу дремучемъ, сердяги». И полковникъ разсказалъ, какъ еще въ гимназіи нѣмецъ объяснялъ имъ залоги: «волкъ ѣлъ коза—дѣйствительный, коза ѣлъ волкъ—страдательный».

Мы веселимся. Отъ бутылочки портеру Бирге тоже прояснился и задымилъ съ тройной силой. Далеко на деревнѣ пѣли пѣсни, взвизгивали временами—это мой Петька не даетъ спуску дѣвкамъ, а мы отхлебываемъ темной влаги съ сыромъ, смѣемся, дышемъ. Но, какъ и раньше, бархатный шатеръ надъ нами, дѣвичьи взоры звѣздъ,—и такъ странно: хохочешь надъ толстымъ сыроваромъ, его лысиной, и вдругъ поднимаешь глаза выше, не такъ особенно, а выше: и увидишь его звѣзду; стоитъ надъ нимъ, какъ надъ полковникомъ, Орѣшкой, мною; его сыроварская звѣзда, не стѣсняясь тѣмъ, что, можетъ быть, онъ совсѣмъ и не знаетъ, что такое залогъ. Ея тонкіе лучики отсвѣчиваютъ въ его лысинѣ, а другіе лученки обтекаютъ все филистерское тѣло, брюхо,—но ничего, не стыдятся.

«Полковникъ, голубчикъ, завтрашнихъ тетеревовъ опять прозѣваемъ, будетъ вамъ яриться, право». «И намъ-съ пора, и намъ-съ, ки-хи... еще много завтра дѣлъ...» Орѣшекъ надѣваетъ широкополую шляпу, бандитскую: «намъ-съ еще нужно бы тутъ на деревню пройтись—ки-хи-хи, тутъ у васъ вечеромъ относительно прекраснаго полу превесело бываетъ-съ. Вы какъ находите, господинъ Бирге!?» У Берге только животъ поколыхивается отъ смѣху: «а вы дума-эте, насъ не побьютъ?»

Ну, съ Улиссомъ, какъ Орѣшка, хоть куда можно. Мы же съ полковникомъ долго еше сидимъ на заваленкѣ, куримъ, ведемъ разговоры. Понемногу все смолкаетъ на селѣ: разбрелись визжавшія дѣвки, Петька мой лазаетъ гдѣ-то за плетнемъ въ конопляхъ, а надъ всѣмъ мягко льетъ сумракъ, и ночь тихо млѣетъ.

«Спатеньки, шлафенъ», говоритъ полковникъ. Спать, такъ спать. Розычъ самъ возится, приготовляетъ, что за старичина милѣйшій,—а спать все же въ его комнатѣ трудно: жара. Висятъ ятаганы, винчестеры, блохи скачутъ эскадронами, и тамъ на большомъ турецкомъ диванѣ бѣлѣется самъ полковникъ Турецкій, «воевода Пальмерстонъ», и краснѣетъ его папироска. Ага, заснулъ, наконецъ—теперь можно и улизнуть. Начинаетъ сѣрѣть небо, звѣзды поблѣднѣли, это часъ бѣлыхъ утреннихъ духовъ, тумановъ, птицъ небесныхъ.

Хорошо—устроиться на телѣгѣ съ сѣномъ; сѣно щекочетъ, но пахнетъ, и въ темнотѣ навѣса близко жуетъ теплая лошадиная морда. «Вотъ тебѣ разъ! было сѣно, а вдругъ теперь человѣкъ»—морда фыркаетъ и на своемъ лбу я чувствую ея встряхивающіяся губы. Тихо, тихо; почивайте, полковникъ, Петька, Бирге, Орѣшка, Джонъ и Скромная,—я послушаю раннее утро, подышу запахомъ сѣна, погляжу, какъ вѣчныя куры гомозятся на насѣстѣ—подремлю самъ, можетъ быть, въ прохладѣ утренничка.

Мы спимъ. Но что такое? Вотъ открываю глаза, и ужъ во всѣ щели побѣдными струями свѣтъ, свѣтъ! Скорѣй на воздухъ, не упустить минуты, за сарай, туда, къ нему. Оттуда тянетъ огненный бризъ, точно шелковыя одежды вѣютъ въ ушахъ, и, кажется, побѣжишь сейчасъ прямо, навстрѣчу, и всего безпредѣльно пронизитъ эти ласкающіе лучи, волосы заструятся по вѣтру, назадъ, будто отъ свѣтлаго, плывучаго тока. О, взять арфы и стать на колѣна и долго, въ изступленьи пѣть на востокъ.

Полковникъ мой спитъ еще, розовый отблескъ покоится на сухенькихъ его чертахъ, вся избенка посѣдѣла отъ росы — и такъ хочется припасть къ этому старому—старикану, поцѣловать въ лобъ его, какъ отца — жаль будить: старенькимъ и спать то только подъ утро.

Въ семь часовъ мы готовы. Въ бесѣдкѣ Розычъ «сервируетъ» чай, мы наливаемъ съ густѣйшими сливками, вокругъ повилика обняла тонкими кольцами рѣшетку, и высоко въ небѣ чешуятся облачка: баранчики. Это ужъ скромный, трезвый день. Полковникъ умытъ, насъ ждутъ собаки и тетерева. Хорошо ли я спалъ? Восхитительно. Философствуемъ слегка. «Васъ, полковникъ, въ генералы бы должны произвести. Признавайтесь, очень вѣдь свирѣпый?» «Ду-шка, война вздоръ; самое лучшее въ войнѣ — домой ворочаться и пенсіи ждать. Наилучшее-съ.» Ну Пальмерстонъ! Я то думалъ, десятка три турковъ на своемъ вѣку укокошилъ.

А потомъ, когда въ походъ выступаемъ, полковникъ даже на Слѣдопыта похожъ: «длинноствольная винтовка» какая-то. Я тоже съ ружьемъ, но на сердцѣ у меня весело и несерьезно до послѣдней степени:

не похоже что-то дѣло на тетеревовъ, совершенно непохоже. И проспали слегка ужъ, да и солнце, дай Богъ ему здоровья, растопило таки воздухъ: пышущія волны плаваютъ надъ полемъ, какъ напоены онѣ глубочайшимъ, шелковымъ духомъ, ароматами, нагрѣтымъ сѣномъ, волей! Джонъ съ Бисмаркомъ давно ужъ друзья: въ овсахъ только хребты ихъ выныриваютъ, носятся, какъ сумасшедшіе.

«Тутъ, батенька, въ этой курпажинкѣ выводкамъ быть да быть; замѣчаете, линяли, пометъ, а земляничка плоха?»

Правда, мы бредемъ ужъ струящимся въ вѣтрѣ березничкомъ. Здѣсь въ ранней тиши утра тайными тропами бродили всѣ эти славные тетеревятки за своей мамашей, и глупый чернышъ «монахъ» сидѣлъ гдѣ-нибудь въ кустѣ и тарахтѣлъ, чуфыкалъ, раздувая красныя брови. Только, дорогой полковникъ, было да сплыло. Теперь жарко, все въ чащѣ, — а потомъ, Джонъ! Джонъ безумный! «Джонъ, Джонъ, куда тебя черти носятъ? Джонъ, анаѳема!» Но Джонъ въ солнечномъ трансѣ — вмѣсто того чтобы чинно разнюхивать тетеревиные слѣды и дѣлишки, носится, какъ угорѣлый — тр-р-р, тр-р-р — ну, конечно, поразгонялъ тамъ въ чащѣ всѣхъ косачей, цыплятъ, мамашъ. Надо бы тебя орясиной, какъ Брецъ совѣтовалъ, да такъ ужъ видно твое счастье — самому развѣ побѣгать, высуня языкъ, въ этихъ кустахъ, березкахъ, огненномъ ароматѣ? Нынѣшній воздухъ вѣдь это «ромъ неба». Нехитро и человѣку ошалѣть.

А полковникъ у меня премудрѣйшій — собрался будто вправду въ походъ: вонъ у него черезъ плечо фляга—понимаю въ чемъ дѣло—это «огненная вода». Слушайте, Розычъ, невозможно все же вѣдь на охотѣ ни разу не выстрѣлить?

Ахъ, глупо нѣсколько, но хорошо, какъ хорошо, забѣжать вглубь, въ лѣсъ, и палить — разъ, разъ, тахъ на воздухъ, съ добрыми намѣреньями, въ честь неба, солнца, полковника, Джона!

«Голубушка, вы того... насчетъ головы у васъ какъ? не очень нагрѣло?» Слѣдопытъ думаетъ, что я рехнулся, говоря короче; — нѣтъ, я могу еще посображать. Напримѣръ, съ удовольствіемъ выпью «воды жизни», позавтракаю съ полковникомъ здѣсь, въ лѣсу, въ тѣни раскидистаго баобаба, даже Джона покормлю чѣмъ-нибудь. А потомъ солнце перейдетъ меридіанъ, полковникъ разомлѣетъ, я уложу его вздремнуть, буду улыбаться неизвѣстно чему, Богъ знаетъ о чемъ мечтать, чего никогда не будетъ — и отмахивать вѣточкой мухъ отъ полковничьяго лица. «Спи, полковникъ старый, спи, спи, тихонечко усни».

Все-таки—надо домой. Какъ ни какъ, а домой. Свечерѣло, и телѣжка моя подана, у полковничьяго крыльца. — Прощайте, дорогой, крѣпко — крѣпко васъ цѣлую. Дай вамъ Богъ. «Мамочка, нельзя-съ, провожу васъ пять минутъ»—это полковникъ сѣлъ на козлы, прямо какъ-то съ земли шагнулъ длиннѣйшими своими ножищами—корабль нашъ поплылъ. Какъ мы устали, у всѣхъ насъ кружатся немного головы—это отъ деревенскаго вина—неба и воздуха. Но пріятно ѣхать съ чуть затуманенной головой, полтора десятка верстъ мимо зелени, въ нивахъ, большаками.

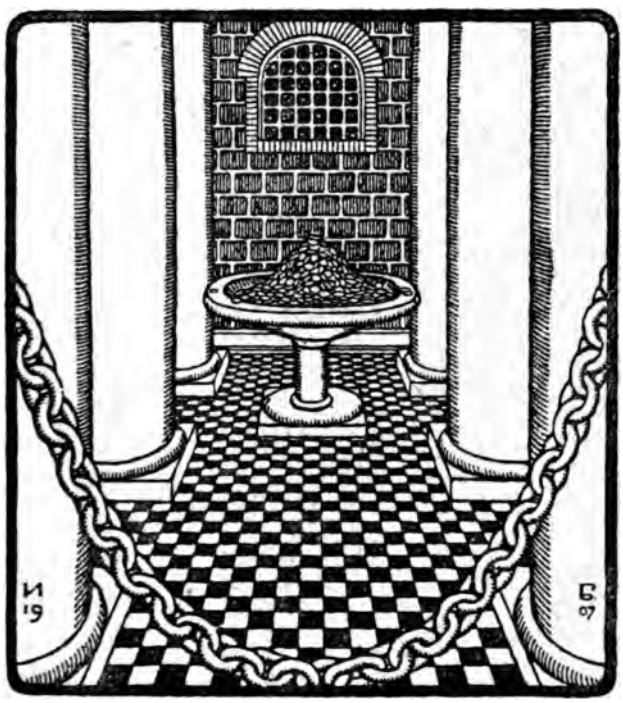
«Вотъ-съ, съ горы осторожнѣй, а за симъ Господь съ вами. Спасибо, не забыли старика». И снова поцѣлуи, и потомъ сразу мы катимъ подъ горку, а полковникъ сверху машетъ, похожій на высокій четырехугольный крестъ или на Соколинаго Глаза. Прощайте, прощайте, Соколиный Глазъ—привѣтъ вамъ за волю, за сердце чистое—привѣтъ!

Онъ утонулъ въ зеленѣющемъ небѣ. Мы же катимъ. Мы ѣдемъ съ пустыми руками, всѣ наши тетери мирно дремлютъ сейчасъ подъ кустами, мы неудачники,—но это ничего: Джонъ ласково жмется, и зеленыя поля раздвигаются предъ нами великими покро-

вами, и великое небо несетъ свой куполъ безъ конца, безъ конца—это всѣ они сводятъ намъ въ душ' глубокій свой миръ, тихую мудрость. О шуми, шуми, вѣтеръ, говори о просторахъ, дальнихъ звѣздахъ, радости.—Прощайте, полковникъ, привѣтъ!

ГОРОДЪ

Валерій Брюсовъ
Мстиславъ Добужинскій
Левъ Бакстъ
Николай Рерихъ



ГОРОДЪ

Царя властительно надъ доломъ,
Огни вонзая въ небосклонъ,
Ты трубъ фабричныхъ частоколомъ
Неумолимо окруженъ.

Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сѣтями проволокъ обвитъ,
Ты — чарователь неустанный,
Ты — не слабѣющій магнитъ!

Дракономъ, хищнымъ и безкрылымъ.
Засѣвъ, — ты стережешь года,
А по твоимъ желѣзнымъ жиламъ
Струится газъ, бѣжитъ вода.

Твоя безмѣрная утроба
Вѣковъ добычей не сыта, —
Въ ней неумолчно ропщетъ Злоба,
Въ ней грозно стонетъ Нищета.

Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы изъ золота воздвигъ,
Поставилъ праздничные храмы
Для женщинъ, для картинъ, для книгъ:

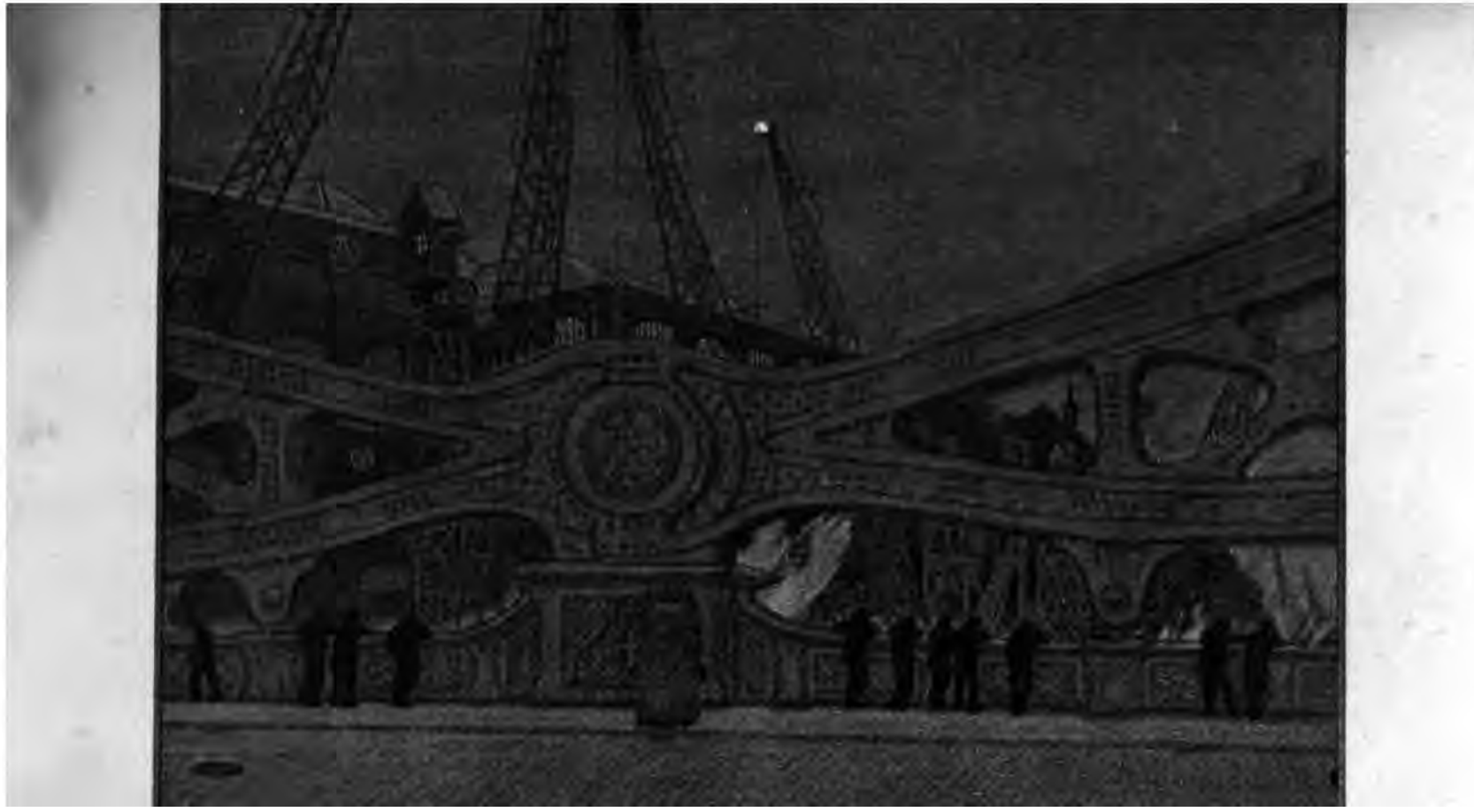
Но самъ скликаешь, непокорный,
На штурмъ своихъ дворцовъ — орду,
И шлешь вождей на митингъ черный:
Безумье, Гордость и Нужду!

И въ ночь, когда въ хрустальныхъ залахъ
Хохочетъ огненный Развратъ,
И нѣжно пѣнится въ бокалахъ
Мгновеній сладострастныхъ ядъ, —

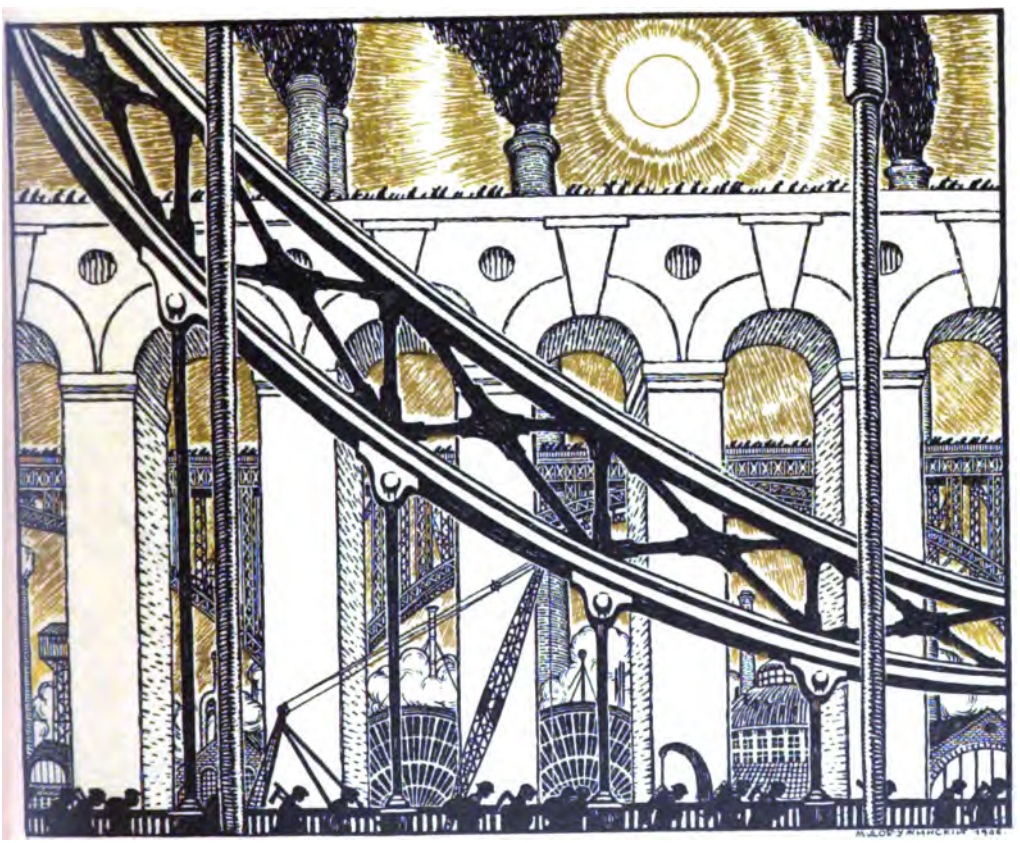
Ты гнешь рабовъ угрюмыхъ спины,
Чтобъ, изступленны и легки,
Ротаціонныя машины
Ковали острыя клинки.

Коварный змѣй, съ волшебнымъ взглядомъ!
Въ порывѣ ярости слѣпой,
Ты ножъ, съ своимъ смертельнымъ ядомъ,
Самъ подымаешь надъ собой!

Валерій Брюсовъ.

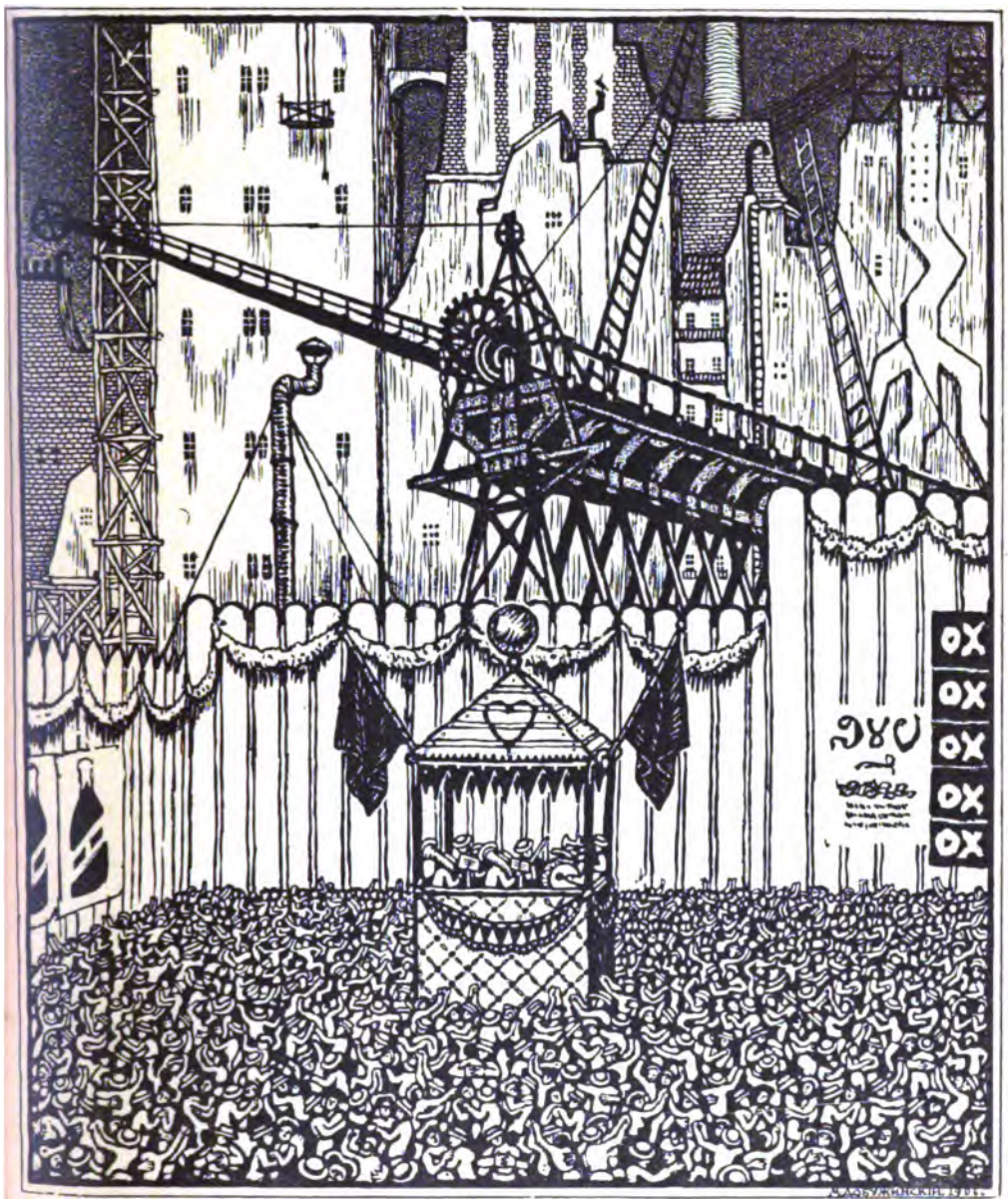


М. Добужинскій



БУДНИ

Рис. М. Добужинскаго



ПРАЗДНИКЪ

Л. Бакстъ

УЛИЦА

Л. Бакстъ

УЛИЦА

Н. Рерихъ

ГОРОДЪ.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА.

ЕДСТАВЛЕНІЕ ВЪ ПЯТИ
ЛРТИНАХЪ СЪ ПРОЛОГОМЪ
Ч. ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.

СВѢТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО ДРУГА,
МОЕЙ ЖЕНЫ ОТДАЮ ЭТУ ВЕЩЬ,
ПОСЛѢДНЮЮ,
НАДЪ КОТОРОЮ МЫ РАБОТАЛИ
ВМѢСТѢ.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

ПРОЛОГЪ.

Нѣкто въ сѣромъ, именуемый Онъ, говоритъ о жизни человѣка. Подобіе большой, правильно четырехугольной, совершенно пустой комнаты, не имѣющей ни двери, ни оконъ. Все въ ней сѣрое, дымчатое, одноцвѣтное: сѣрыя стѣны, сѣрый потолокъ, сѣрый полъ. Изъ невидимаго источника льется ровный, слабый свѣтъ — и онъ также сѣръ, однообразенъ, одноцвѣтенъ, призраченъ и не даетъ ни тѣней, ни свѣтлыхъ обликовъ.—Неслышно отдѣляется отъ стѣны прильнувшій къ ней Нѣкто въ сѣромъ. На немъ широкій безформенный сѣрый балахонъ, смутно обрисовывающій контуры большого тѣла; на головѣ Его такое же сѣрое покрывало, густою тѣнью кроющее верхнюю часть лица. Глазъ Его не видно. То, что видимо: скулы, носъ, крутой подбородокъ — крупно и тяжело, точно высѣчено изъ сѣраго камня. Губы Его твердо сжаты. Слегка поднявъ голову, Онъ начинаетъ говорить твердымъ, холоднымъ голосомъ, лишеннымъ волненія и страсти — точно наемный чтецъ, съ суровымъ безразличіемъ читающій книгу Судебъ.

— «Смотрите и слушайте, пришедшіе сюда для забавы и смѣха. Вотъ пройдетъ передъ вами вся жизнь Человѣка, съ ея темнымъ началомъ и темнымъ концомъ. Доселѣ небывшій, таинственно схороненный въ безграничности временъ, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никѣмъ—онъ таинственно нарушитъ затворы небытія и крикомъ возвѣститъ о началѣ своей короткой жизни. Въ ночи небытія вспыхнетъ свѣтильникъ, зажженный невѣдомой рукой — это

жизнь Человѣка. Смотрите на пламень его — это жизнь Человѣка.

Родившись, онъ пріиметъ образъ и имя человѣка и во всемъ станетъ подобенъ другимъ людямъ, уже живущимъ на землѣ. И ихъ жестокая судьба станетъ его судьбою, и его жестокая судьба станетъ судьбою всѣхъ людей. Неудержимо влекомый временемъ, онъ непреложно пройдетъ всѣ ступени человѣческой жизни отъ низу къ верху, отъ верху къ низу. Ограниченный зрѣніемъ, онъ никогда не будетъ видѣть слѣдующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его; ограниченный знаніемъ, онъ никогда не будетъ знать, что несетъ ему грядущій часъ — минута. И въ слѣпомъ невѣдѣніи своемъ, томимый предчувствіями, волнуемый надеждами и страхомъ, онъ покорно совершитъ кругъ желѣзнаго предначертанія.

Вотъ онъ — счастливый юноша. Смотрите, какъ ярко пылаетъ свѣча! Ледяной вѣтеръ безграничныхъ пространствъ безсильно кружится и рыскаетъ, колебля пламя, свѣтло и ярко горитъ свѣча. Но убываетъ воскъ, съѣдаемый огнемъ.—Но убываетъ воскъ.

Вотъ онъ счастливый мужъ и отецъ. Но посмотрите, какъ тускло и странно мерцаетъ свѣча: точно морщится желтѣющее пламя, точно отъ холода дрожитъ и прячется оно. Ибо таетъ воскъ, съѣдаемый огнемъ.—Ибо таетъ воскъ.

Вотъ онъ старикъ, больной и слабый. Уже кончились ступени жизни, и черный провалъ на мѣстѣ ихъ, — но все еще тянется впередъ дрожащая нога. Пригибаясь къ землѣ, безсильно стелется синѣющее пламя, дрожитъ и падаетъ, дрожитъ и падаетъ — и гаснетъ тихо.

Такъ умретъ Человѣкъ. Прійдя изъ ночи, онъ возвратится къ ночи и сгинетъ безслѣдно въ безграничности временъ, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никѣмъ. И Я, тотъ, кого всѣ называютъ Онъ, останусь вѣрнымъ спутникомъ Человѣка во всѣ дни его жизни, на всѣхъ путяхъ его. Невидимый Человѣ-

комъ и близкими его, Я буду неизмѣнно подлѣ, когда онъ бодрствуетъ и спитъ, когда онъ молится и проклинаетъ. Въ часы радости, когда высоко воспаритъ его свободный и смѣлый духъ, въ часы унынія и тоски, когда смертнымъ томленіемъ омрачится душа, и кровь застынетъ въ сердцѣ; въ часы побѣдъ и пораженій, въ часы великой борьбы съ непреложнымъ— Я буду съ нимъ.—Я буду съ нимъ.

И вы, пришедшіе сюда для забавы, вы, обреченные смерти, смотрите и слушайте: вотъ далекимъ и призрачнымъ эхомъ пройдетъ передъ вами, съ ея скорбями и радостями, быстротечная жизнь человѣка».

Нѣкто въ сѣромъ умолкаетъ. И въ молчаніи гаснетъ свѣтъ, и мракъ объемлетъ Его и сѣрую, пустую комнату.

Опускается занавѣсъ.

КАРТИНА ПЕРВАЯ.

РОЖДЕНІЕ ЧЕЛОВѢКА.

РОЖДЕНІЕ ЧЕЛОВѢКА И МУКИ МАТЕРИ.

Глубокая тьма, въ которой все неподвижно. Какъ кучка сѣрыхъ притаившихся мышей, смутно намѣчаются сѣрые силуэты Старухъ въ странныхъ покрывалахъ, и очертанія большой высокой комнаты. Тихими голосами, пересмѣиваясь, старухи ведутъ бесѣду.

Разговоръ старухъ.

— Хотѣлось бы мнѣ знать, что родится у нашей пріятельницы: сынъ или дочь?

— А развѣ вамъ не все равно?

— Я люблю мальчиковъ.

— А я люблю дѣвочекъ. Онѣ всегда сидятъ дома и ждутъ, когда къ нимъ приходишь.

— А вы любите ходить въ гости?

Старухи тихо смѣются.

— Онъ знаетъ.

— Онъ знаетъ.

Молчаніе.

— Пріятельницѣ нашей хотѣлось бы имѣть дѣвочку. Она говоритъ, что мальчики слишкомъ буйны нравомъ, предпріимчивы и ищутъ опасности. Когда они еще маленькіе, они любятъ лазить по высокимъ деревьямъ и купаться въ глубокой водѣ. И часто

падаютъ, и часто тонутъ. А когда становятся они мужчинами, они устраиваютъ войны и убиваютъ другъ друга.

— Она думаетъ, что дѣвочки не тонутъ. А я много таки видѣла утонувшихъ дѣвочекъ, и были онѣ, какъ всѣ утопленники: мокрыя и зеленыя.

— Она думаетъ, что дѣвочекъ не убиваютъ камни!

— Бѣдная, ей такъ тяжело рожать. Вотъ уже шестнадцать часовъ сидимъ мы здѣсь, а она все кричитъ. Сперва она кричала звонко, такъ что больно было ушамъ отъ ея крика, потомъ тише, а теперь только хрипитъ и стонетъ.

— Докторъ говоритъ, что она умретъ.

— Нѣтъ, докторъ говоритъ, что ребенокъ будетъ мертвый, а она сама останется жива.

— Зачѣмъ онѣ рожаютъ? Это такъ больно.

— А зачѣмъ они умираютъ? Это еще больнѣе!

Старухи тихо смѣются.

— Да. Рожаютъ и умираютъ.

— И вновь рожаютъ.

Смѣются. Слышенъ тихій крикъ страдающей женщины.

— Опять началось.

— У нея снова появился голосъ. Это хорошо.

— Это хорошо.

— Бѣдный мужъ: онъ такъ растерялся, что на него смѣшно смотрѣть. Прежде онъ радовался беременности жены и говорилъ, что хочетъ мальчика. Онъ думаетъ, что сынъ его будетъ министромъ или генераломъ. Теперь онъ ничего не хочетъ, ни мальчика, ни дѣвочки, и только мечется и плачетъ.

— Когда у нея начинаются схватки, онъ тужится самъ и краснѣетъ.

— Его послали въ аптеку за лекарствомъ, а онъ два часа ходилъ мимо аптеки и не могъ вспомнить, что ему надо. Такъ и вернулся.

Старухи тихо смѣются. Крикъ становится сильнѣе и замираетъ. Тишина.

— Что съ нею? Быть можетъ, она уже умерла?

— Нѣтъ. Тогда бы мы услышали плачъ. Тогда вбѣжалъ бы сюда докторъ и сталъ бы говорить пустяки. Тогда бы внесли сюда ея мужа, потерявшаго чувство, и намъ пришлось бы поработать. Нѣтъ, она не умерла.

— Тогда зачѣмъ же мы здѣсь сидимъ?

— Спросите у Него. Развѣ мы знаемъ?

— Онъ не скажетъ.

— Онъ не скажетъ. Онъ ничего не говоритъ.

— Онъ помыкаетъ нами. Онъ поднимаетъ насъ съ постелей и заставляетъ сторожить, а потомъ оказывается, что и приходить не надо было.

- Мы сами пришли. Развѣ мы не сами пришли? Нужно быть справедливыми. Вотъ она снова кричитъ. Развѣ намъ мало этого?

— А вы довольны?

— Я молчу. Я молчу и жду.

— Какая вы добрая!

Смѣются. Крики становятся сильнѣе.

— Какъ она кричитъ! Какъ ей больно. Вы знаете эту боль? Точно разрываются внутренности.

— Мы всѣ рожали.

— Какъ будто это не она. Я не узнаю голоса нашей пріятельницы. Онъ такой мягкій и нѣжный.

— А это скорѣе похоже на вой звѣря. Чувствуется ночь въ этомъ крикѣ.

— Чувствуется безконечный темный лѣсъ, и безнадежность, и страхъ.

— Чувствуется одиночество и тоска. Развѣ возлѣ нея нѣтъ никого? Почему нѣтъ другихъ голосовъ, кромѣ этого дикаго вопля?

— Они говорятъ, но ихъ не слышно. Вы замѣчали, какъ одинокъ всегда крикъ человѣка: всѣ говорятъ, и ихъ не слышно, а кричитъ одинъ, и кажется, что все молчитъ и слушаетъ.

— Я слышала разъ, какъ кричалъ человѣкъ, которому смяло экипажемъ ногу. Улица была полна народу, а казалось, что онъ только одинъ и есть.

— Но это страшнѣе.

— Громче, скажите.

— Протяжнѣе, пожалуй.

— Нѣтъ, страшнѣе. Здѣсь чувствуется смерть.

— И тамъ чувствовалась смерть. Онъ и умеръ.

— Не спорьте! Развѣ вамъ не все равно?

Молчаніе. Крикъ.

— Какъ странно кричитъ человѣкъ! Когда самой больно и кричишь, то не замѣчаешь, какъ это странно —какъ это странно.

— Я не могу представить себѣ рта, который издаетъ эти звуки. Неужели это ротъ женщины? Я не могу представить.

— Но чувствуется, что онъ перекосился.

— Въ какой-то глубинѣ зараждается звукъ. Теперь это похоже на крикъ утопающаго. Слушайте, она захлёбывается!

— Кто-то тяжелый сѣлъ ей на грудь!

— Кто-то душитъ ее!

Крики смолкаютъ.

— Наконецъ-то умерла. Это надоѣлъ. Крикъ [illegible]

— А [illegible] не правда ли?

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— Кажется, здѣсь.

— Онъ не любитъ смѣха.

— Говорятъ, что Онъ смѣется самъ.

— Кто это видѣлъ? Вы передаете просто слухи: о Немъ такъ много лгутъ.

— Онъ слышитъ насъ. Будемъ серьезны!

Тихо смѣются.

— А все таки я очень хотѣла бы знать, будетъ ли мальчикъ или дѣвочка?

— Правда, интересно знать, съ кѣмъ будешь имѣть дѣло.

— Я бы желала, чтобы оно умерло, не родившись.

— Какая вы добрая!

— Не добрѣе, чѣмъ вы.

— А я бы желала, чтобы оно было генераломъ.

Смѣется.

— Вы ужъ очень смѣшливы! Мнѣ это не нравится.

— А мнѣ не нравится, что вы такъ мрачны.

— Не спорьте! Не спорьте! Мы всѣ и смѣшливы и мрачны. Пусть каждая будетъ, какъ она хочетъ.

Молчаніе.

— Когда они родятся, они очень смѣшные. Смѣшные дѣтеныши.

— И самодовольные.

— И очень требовательные! Я не люблю ихъ. Они сразу начинаютъ кричать и требовать, какъ будто для нихъ все уже должно быть готово. Еще не смотрятъ, а уже знаютъ, что есть грудь и молоко, и требуютъ ихъ. Потомъ требуютъ, чтобы ихъ уложили спать. Потомъ требуютъ, чтобы ихъ качали и тихонько шлепали по красной спинкѣ. Я больше люблю ихъ, когда они умираютъ: тогда они менѣе

требовательны. Протянется самъ, и не проситъ, чтобы его укачивали.

— Нѣтъ, они очень смѣшные. Я люблю обмывать ихъ, когда они родятся.

— Я люблю обмывать ихъ, когда они умерли.

— Не спорьте! не спорьте! Всякой будетъ свое: одна обмоетъ, когда родится, другая—когда умретъ.

— Но почему они думаютъ, что имѣютъ право требовать, какъ только родятся? Мнѣ не нравится это.

— Они не думаютъ. Это желудокъ требуетъ.

— Они всегда требуютъ!

— Но вѣдь имъ никогда не даютъ.

Старухи тихо смѣются. Крики за стѣной возобновляются.

— Опять кричитъ!

— Животныя рожаютъ легче.

— И легче умираютъ. И легче живутъ. У меня есть кошка: если бы вы видѣли, какая она толстая и счастливая.

— А у меня собака. Я ей каждый день говорю: ты умрешь!—а она осклабляетъ зубы и весело вертитъ хвостомъ.

— Но вѣдь они—животныя.

— А это—люди.

Смѣются.

— Либо она умираетъ, либо родитъ. Чувствуются послѣднія силы въ этомъ воплѣ.

— Вытаращенные глаза...

— Холодный потъ на лбу...

Слушаютъ.

— Она родитъ!

— Нѣтъ, она умираетъ.

Крики обрываются.

— Я вамъ говорю...

Нѣкто въ сѣромъ говоритъ звучно и властно.

— Тише! Человѣкъ родился.

Почти одновременно съ Его словами приносится крикъ ребенка и вспыхиваетъ свѣча въ Его рукѣ. Высокая, она горитъ неувѣренно и слабо, но постепенно огонь становится сильнѣе. Тотъ уголъ, въ которомъ неподвижно стоитъ Нѣкто въ сѣромъ, всегда темнѣе другихъ, и желтое пламя свѣчи озаряетъ его крутой подбородокъ, твердо сжатыя губы и крупныя костистыя щеки. Верхняя часть лица скрыта покрываломъ. Ростомъ Онъ нѣсколько выше обычнаго человѣческаго роста.

Свѣча длинная, толстая, вправлена въ подсвѣчникъ старинной работы. На зелени бронзы выдѣляется Его рука, сѣрая, твердая, съ тонкими длинными пальцами.

Медленно свѣтлѣетъ, и изъ мрака выступаютъ фигуры пяти сгорбленныхъ Старухъ въ странныхъ покрывалахъ и комната. Она высокая, правильно четырехугольная, съ гладкими одноцвѣтными стѣнами. Впереди и направо по два высокихъ восьмистекольныхъ окна, безъ занавѣсокъ; въ стекла смотритъ ночь. У стѣнъ стоятъ стулья съ высокими прямыми спинками.

Старухи торопливо.

— Слышите, какъ забѣгали! Идутъ сюда.
— Какъ свѣтло! Мы уходимъ.
— Смотрите, свѣча высока и свѣтла.
— Мы уходимъ! Мы уходимъ. Скорѣе.
— Но мы прійдемъ!—Но мы прійдемъ!

Тихо смѣются, и въ полумракѣ, странными, зигзагообразными движеніями ускользаютъ, пересмѣиваясь. Съ ихъ уходомъ свѣтъ усиливается, но въ общемъ

остается тусклымъ, безжизненнымъ, холоднымъ; тотъ уголъ, въ которомъ недвижимо стоитъ Нѣкто въ сѣромъ съ горящей свѣчой, темнѣе другихъ.

Входитъ Докторъ въ бѣломъ больничномъ балахонѣ и Отецъ Человѣка. Лицо послѣдняго выражаетъ глубокое утомленіе и радость. Подъ глазами синіе круги, щеки впали, волосы въ безпорядкѣ. Одѣтъ очень небрежно. У Доктора очень ученый видъ.

Докторъ.

До послѣдней минуты я не зналъ, останется ли въ живыхъ ваша жена или нѣтъ. Я употребилъ все искусство и знаніе, но наше искусство значитъ такъ мало, если не приходитъ на помощь сама природа. И я очень волновался, у меня и сейчасъ такъ бьется пульсъ. Уже столькимъ дѣтямъ я помогъ явиться на свѣтъ, но и до сихъ поръ я не могу отдѣлаться отъ волненія. Но вы не слушаете меня, сударь!

Отецъ Человѣка.

Я слушаю, но ничего не слышу. До сихъ поръ у меня стоитъ въ ушахъ ея крикъ, и я плохо понимаю. Бѣдная, какъ она страдала! Безумный, глупый, я такъ хотѣлъ имѣть дѣтей, но теперь я отказываюсь отъ этого преступнаго желанія.

Докторъ.

Вы еще позовете меня, когда родится слѣдующій.

Отецъ.

Нѣтъ, никогда. Мнѣ стыдно сказать, но я сейчасъ ненавижу ребенка, изъ-за котораго она столько страдала. Я даже не видалъ его: какой онъ?

Докторъ.

Онъ хорошо упитанный, крѣпкій мальчикъ, и, если не ошибаюсь, похожъ на васъ.

Отецъ.

Похожъ на меня? Какъ я счастливъ! Теперь я начинаю любить его. Мнѣ всегда хотѣлось, чтобы у меня родился мальчикъ и былъ похожъ на меня. Вы видѣли: у него такой носъ, какъ мой, не правда ли?

Докторъ.

Да, носъ и глаза.

Отецъ.

И глаза? Это такъ хорошо! Я вамъ заплачу больше, чѣмъ назначилъ.

Докторъ.

Вы должны мнѣ заплатить особо еще за щипцы, которые я накладывалъ.

Отецъ, обращаясь къ тому углу, гдѣ неподвижно стоитъ Онъ:—Боже! Благодарю Тебя за то, что Ты исполнилъ мое желаніе и далъ мнѣ сына, похожаго на меня. Благодарю Тебя за то, что не умерла моя жена, и живъ ребенокъ. И прошу Тебя: сдѣлай такъ, чтобы онъ былъ умнымъ и честнымъ и чтобы никогда не огорчалъ насъ: меня и его мать. Если Ты сдѣлаешь такъ, я всегда буду вѣрить въ Тебя и ходить въ церковь. Теперь я очень люблю моего сына.

Входятъ Родственники. Ихъ шестеро. Необыкновенно толстая пожилая дама съ отвисшимъ подбородкомъ и маленькими надменными глазками, чрезвычайно важная и гордая. Пожилой господинъ, ея мужъ, очень длинный и необыкновенно худой,

такъ что платье виситъ на немъ. Козлиная острая бородка, длинные до плечъ, гладкіе, точно намоченные волосы и очки; смотритъ испуганно и въ то же время поучительно; въ рукѣ держитъ шляпу—низкій, черный цилиндръ. Молоденькая дѣвушка, ихъ дочь, съ наивно вздернутымъ носикомъ, мигающими глазами и открытымъ ртомъ. Худая дама, имѣющая крайне угнетенный и кислый видъ; въ рукахъ держитъ носовой платокъ и часто вытираетъ имъ ротъ. Двое юношей, совершенно тождественныхъ: необыкновенно высокіе воротнички, вытягивающіе шею, прилизанные волосы, выраженіе недоумѣнія и растерянности.

Всѣ указываемыя свойства въ каждомъ изъ обладателей ихъ достигаютъ крайняго развитія.

Пожилая дама.

Позволь, дорогой братъ, поздравить тебя съ рожденіемъ сына.

Цѣлуетъ его.

Господинъ.

Позволь, дорогой родственникъ, сердечно поздравить тебя съ рожденіемъ столь долго ожидаемаго сына.

Цѣлуетъ.

Остальные.

Позвольте намъ, дорогой родственникъ, поздравить васъ съ рожденіемъ сына.

Цѣлуютъ. Докторъ уходитъ.

Отецъ, очень растроганный.

Благодарю васъ! Благодарю васъ! Вы всѣ очень хорошіе, очень добрые и милые люди, и я очень

люблю васъ. Прежде я сомнѣвался и думалъ, что ты, дорогая сестра, нѣсколько занята собой и своими достоинствами, а вы, милый зять, нѣсколько педантичны. И про остальныхъ я думалъ, что они холодны ко мнѣ и ходятъ только обѣдать, но теперь я вижу, что ошибался. Я очень счастливъ: у меня родился сынъ, похожій на меня, и кромѣ того я сразу вижу столько хорошихъ, любящихъ меня людей.

Цѣлуются.

Молодая дѣвушка.

Какъ вы назовете сына, дорогой дядя? Мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы это было красивое, поэтическое имя. Такъ много зависитъ отъ того, какъ зовутъ человѣка.

Пожилая дама.

Я бы желала, чтобы это было простое и солидное имя. Люди съ красивыми именами всегда очень легкомысленны и рѣдко успѣваютъ въ жизни.

Пожилой господинъ.

Мнѣ кажется, что вамъ, дорогой тесть, слѣдовало бы наречь сына по имени кого-либо изъ старшихъ родственниковъ. Это продолжаетъ и укрѣпляетъ родъ.

Отецъ.

Да, мы съ женой уже думали объ этомъ, но не могли рѣшить. Вообще, съ рожденіемъ ребенка приходитъ столько новыхъ мыслей и заботъ!

Пожилая дама.

Это наполняетъ жизнь.

— Инженеръ и его жена. Старая квартира оказалась очень сырая и холодная. Нѣсколько разъ жаловался домовладѣльцу, но онъ не обратилъ вниманія.

— По моему мнѣнію, лучше маленькая квартира, но теплая, чѣмъ большая и сырая. Въ сырой квартирѣ можно умереть отъ насморковъ и ревматизма.

— У однихъ моихъ знакомыхъ тоже очень сырая квартира.

— И у моихъ тоже. Очень сырая!

— Теперь такъ много сырыхъ квартиръ!

— Скажите, пожалуйста, я давно хотѣла у васъ спросить: какъ выводятся жирныя пятна со свѣтлой матеріи.

— Шерстяной?

— Нѣтъ, съ шелковой.

Крики ребенка за стѣной.

— Возьмите небольшой кусокъ чистаго льда и хорошенько трите то мѣсто, гдѣ пятна. И когда хорошенько протрете, возьмите горячій утюгъ и прогладьте.

— Скажите, какъ просто! А я слыхала, что лучше борной водой.

— Нѣтъ, борной водой хорошо только для темныхъ матерій. А для свѣтлыхъ самое лучшее ледъ.

— Скажите, пожалуйста, можно здѣсь курить? Я какъ-то никогда не думалъ, можно ли курить, когда только что родился ребенокъ?

— И мнѣ никогда не приходилось. Какъ странно! На похоронахъ, я знаю, курить неприлично, но тутъ...

— Какіе пустяки! Конечно, можно.

Только куреніе табаку вообще очень грязная привычка! Вы еще очень молодой человѣкъ, и вамъ слѣдовало бы поберечь здоровье. Въ жизни такъ много случаевъ, когда здоровье необходимо.

— Но развѣ возбуждаетъ.

— Повѣрьте мнѣ, это очень нездоровое возбужденіе. Я самъ въ молодости, когда былъ легкомысленъ, злоупотреблялъ куреніемъ табаку...

— Мама, какъ онъ кричитъ! Какъ онъ кричитъ, мама! Онъ хочетъ молочка?

Молодые люди фыркаютъ. Пожилая дама строго смотритъ на нихъ.

Занавѣсъ опускается.

КАРТИНА ВТОРАЯ.

ЛЮБОВЬ И БѢДНОСТЬ.

КАРТИНА ВТОРАЯ.

ЛЮБОВЬ И БѢДНОСТЬ.

Все залито яркимъ, теплымъ свѣтомъ.

Большая, очень высокая и очень бѣлая комната. Совершенно гладкія свѣтло-розовыя стѣны, мѣстами покрытыя фантастическимъ и красивымъ сплетеніемъ сырыхъ пятенъ. Въ правой стѣнѣ два восьмистекольныя окна безъ занавѣсокъ; въ нихъ смотритъ ночь. Двѣ бѣдныя кровати, два стула и непокрытый столъ, на которомъ стоитъ полуразбитый кувшинъ съ водою и прекрасный букетъ полевыхъ цвѣтовъ.

Въ углу, который темнѣе другихъ, стоитъ Нѣкто въ сѣромъ. Свѣча въ Его рукѣ убыла на одну треть, но пламя еще очень ярко, высоко и бѣло, и бросаетъ сильные блики на каменное лицо Его и подбородокъ.

Входятъ Сосѣди, одѣтые въ яркія веселыя платья. Всѣ руки у нихъ полны цвѣтовъ, травы, зеленыхъ свѣжихъ вѣтокъ дуба и березы. Разбѣгаются по комнатѣ. Лица у всѣхъ простыя, веселыя и добрыя.

Разговоръ сосѣдей.

— Какъ они бѣдны! Смотрите, у нихъ нѣтъ ни одного лишняго стула.

— Ни занавѣсокъ на окнахъ...

— Ни картинъ на стѣнахъ...

— Какъ они бѣдны! Смотрите, они ѣдятъ только черствый хлѣбъ...

— И пьютъ только воду; холодную воду изъ студенаго ключа!

— У нихъ нѣтъ даже лишней одежды. Она всегда ходитъ въ своемъ розовенькомъ платьѣ, съ голой шейкой, что дѣлаетъ ее похожей на дѣвочку.

— А онъ въ своей блузѣ и дикомъ галстухѣ, что дѣлаетъ его похожимъ на артиста и заставляетъ злобно лаять на него всѣхъ собакъ...

— И вызываетъ недовольство всѣхъ порядочныхъ людей!

— Собаки ненавидятъ бѣдняковъ. Я видѣлъ и вчера, какъ три собаки напали на него, и онъ отбивался палкой, крича: не смѣйте касаться моихъ брюкъ! Это послѣднія брюки! И онъ смѣялся, а собаки съ оскаленными зубами бросались на него и выли отъ злости.

— А я видѣла сегодня, какъ двое порядочныхъ людей, господинъ и дама, испугались его и перешли на другую сторону. Онъ сейчасъ попроситъ денегъ— сказалъ господинъ. Онъ насъ убьетъ!—запищала дама, и они перешли на другую сторону, оглядываясь и держась за карманы. А онъ качалъ головой и смѣялся.

— Онъ такой веселый!

— Они постоянно смѣются.

— И поютъ.

— Это онъ поетъ. Она танцуетъ.

— Въ своемъ розовенькомъ платьѣ, съ голенькой шейкой.

— На нихъ пріятно смотрѣть: такіе они молодые и славные.

— А мнѣ ихъ жалко: вѣдь они голодны. Понимаете: голодны.

— Да, это правда. У нихъ было больше мебели и платья, но они все продали. И теперь имъ нечего уже продавать.

— Я помню, у нея были такія красивыя серьги, и она ихъ продала, чтобъ купить хлѣбъ.

— А у него былъ красивый черный сюртукъ, въ которомъ онъ вѣнчался, и онъ продалъ его.

— У нихъ остались только обручальныя кольца. Какъ они бѣдны!

— Это ничего. Это ничего. Я самъ былъ молодъ и знаю это.

— Что ты говоришь, дѣдушка?

— Это ничего. Это ничего.

— Смотрите, дѣдушкѣ захотѣлось пѣть, думая о нихъ.

— И танцовать!

Смѣются.

— Онъ такой добрый: онъ сдѣлалъ моему мальчику лукъ и стрѣлы.

— А она плакала со мной, когда была больна моя дочь.

— Онъ помогъ мнѣ поставить упавшій заборъ. Крѣпкій паренекъ!

— Пріятно имѣть такихъ хорошихъ сосѣдей. Ихъ молодость согрѣваетъ нашу холодную старость, ихъ беззаботность прогоняетъ наши заботы.

— Но ихъ комната похожа на тюрьму: она такъ пуста.

— Нѣтъ, она похожа на храмъ: въ ней такъ свѣтло!

— Смотрите, у нихъ на столѣ цвѣты. Это она собрала, гуляя по полю въ своемъ розовенькомъ платьѣ, съ голенькой шейкой. Вотъ ландыши: на нихъ еще не высохла роса.

— Вотъ красная горячая смолка!

— Вотъ фіалки!

— Вотъ простая зеленая травка!

— Не трогайте, дѣвушки, не трогайте цвѣтовъ. На нихъ ея поцѣлуи: не уроните ихъ на землю; на нихъ ея дыханіе—не сдуйте его вашимъ дыханіемъ. Не трогайте, дѣвушки, не трогайте цвѣтовъ!

— Онъ придетъ и увидитъ цвѣты!

— Онъ возьметъ поцѣлуи.

— Онъ выпьетъ ея дыханіе...

— Какъ они бѣдны! Какъ они счастливы!

— Пойдемте! Пойдемте отсюда!

— Но неужели мы ничего не принесли нашимъ милымъ сосѣдямъ! Это было бы такъ плохо!

— Я принесла кусокъ бѣлаго, пахучаго хлѣба и бутылку молока.

Ставитъ на окно.

— А я мягкой и нѣжной травы: когда разсыпать ее по полу, то становится, какъ на цвѣтущемъ лугу, и пахнетъ весною.

Разсыпаетъ.

— А я цвѣтовъ!

Разбрасываетъ ихъ.

— А мы березовыхъ и дубовыхъ вѣтокъ съ зелеными листьями: если убрать ими стѣны, то становится похоже на зеленый веселый лѣсъ!

Убираютъ комнату, загораживая темныя окна, закрывая листьями розовую наготу стѣнъ.

— А я хорошую сигару. Она очень дешевая, но крѣпкая и пахучая, и отъ нея бываетъ пріятный сонъ.

Кладетъ на окно.

— А я розовую ленточку. Если повязать ею волосы, то становишься такой нарядной и красивой. Мнѣ подарилъ ее возлюбленный, но у меня такъ много лентъ, а у нея ни одной.

Кладетъ туда же.

— Что же ты, дѣдушка? Развѣ ты ничего не принесъ?

— Я ничего. Я ничего. Я принесъ только мой кашель. Но этого имъ не нужно. Правда, сосѣдъ?

— Какъ и мои костыли... Эй, дѣвушки, кому нужны мои костыли?

— Помнишь, сосѣдъ!...

— А ты, сосѣдъ, помнишь?...

— Пойдемъ-ка, сосѣдъ, спать. Уже поздно.

Вздыхаютъ и уходятъ, одинъ покашливая, другой, постукивая костылями.

— Пойдемте! Пойдемте!

— Дай Богъ имъ счастья: они такіе хорошіе сосѣди!

— Дай Богъ, чтобы всегда они были здоровы и веселы, и любили другъ друга. И чтобы никогда не пробѣгала между ними противная черная кошка!

— И чтобы нашлась молодчику работа. Плохо, когда у человѣка нѣту работы.

Уходятъ. Тотчасъ же входитъ Жена Человѣка, очень красивая, граціозная, нѣжная, съ цвѣтами въ пышныхъ полураспущенныхъ волосахъ. У нея очень грустный видъ. Садится на стулъ, раскладываетъ на колѣняхъ ручки и грустно говоритъ, обращаясь къ зрителямъ.

— Я сейчасъ ходила въ городъ и искала — не знаю, чего я искала. Мы такъ бѣдны, у насъ нѣтъ ничего, и намъ очень трудно жить. Нужны деньги, а какъ ихъ достать—я не знаю. Если просить у людей,— не дадутъ, отнять—у меня нѣту силы. Я искала работы, но и работы мнѣ не даютъ, говорятъ, что людей много, а работы такъ мало. Я на дорогу смотрѣла: не уронилъ ли кто-нибудь изъ богатыхъ свой кошелекъ, но или его не роняли, или уже поднятъ кошелекъ

кѣмъ-нибудь болѣе счастливымъ, чѣмъ я. И мнѣ такъ грустно. Вотъ сейчасъ придетъ мой мужъ отъ поисковъ работъ, усталый, голодный, а что я ему дамъ, кромѣ моихъ поцѣлуевъ? Но только вѣдь поцѣлуями сытъ не будешь, нѣтъ. Мнѣ такъ грустно, что хочется плакать.

Я могу очень долго не ѣсть, и мнѣ ничего, а онъ не можетъ. У него большое тѣло, которое требуетъ пищи, и когда онъ долго не ѣстъ, онъ становится такой жалкій, блѣдный, больной, раздраженный. Бранитъ меня, а потомъ цѣлуетъ и проситъ, чтобы я не сердилась. Но я никогда не сержусь, потому что очень люблю его. Мнѣ только грустно.

Мой мужъ очень талантливый архитекторъ, и я даже думаю, что онъ геніаленъ. Его родители умерли очень рано, и онъ остался сиротою. Нѣкоторое время послѣ смерти родителей его поддерживали родственники, но такъ какъ онъ былъ всегда очень самостоятеленъ характеромъ и рѣзокъ, часто говорилъ непріятныя вещи, не выказывалъ благодарности, то его бросили. Но онъ продолжалъ учиться, добывая средства уроками и часто голодая, кончилъ высшую школу. Онъ часто голодалъ, мой бѣдный мужъ! Теперь онъ архитекторъ и дѣлаетъ чертежи прекрасныхъ зданій, но никто ихъ не беретъ, и многіе глупые люди даже смѣются надъ нимъ. Чтобы пробиться впередъ, нужны покровители или удача—а у него нѣтъ ни покровителей, ни удачи. Вотъ и ходитъ онъ, разыскивая случая—какого-то случая—а, можетъ быть, и на землѣ ищетъ денегъ, какъ я. Онъ очень еще молодъ и наивенъ.

Конечно, когда-нибудь и къ намъ повернется счастье, но только когда это будетъ? А пока намъ очень трудно жить. Когда мы повѣнчались, у насъ было маленькое приданое, но мы очень скоро его прожили: все ходили въ театръ, и ѣли конфекты. Онъ еще надѣется, а я иногда совсѣмъ теряю надежду и потихоньку плачу. Сердце у меня сжимается,

когда я думаю, что вотъ придетъ онъ, и опять ничего—кромѣ моихъ жалкихъ поцѣлуевъ.

Господи Боже! Будь намъ милосерднымъ и добрымъ Отцомъ. Вѣдь у Тебя такъ много всего: и хлѣба, и работы, и денегъ. Твоя земля такъ богата: она родитъ плоды и колосья на полѣ, она покрываетъ цвѣтами луга—изъ темной глубины своей шлетъ она людямъ золото и драгоцѣнные красивые камни. И такъ много тепла у твоего солнца, и у твоихъ задумчивыхъ звѣздъ такъ много тихой радости. Дай намъ немного изъ своей кошницы, совсѣмъ немного, столько, сколько даешь ты птицамъ своимъ. Немного хлѣба, чтобы не былъ голоденъ мой милый, хорошій мужъ. Немного тепла, чтобы не было холодно ему, и немного работы, чтобы поднялъ онъ гордо свою красивую голову. И, пожалуйста, не гнѣвайся на моего мужа, что онъ такъ ругается, и смѣется, и даже поетъ, заставляя меня танцовать: онъ такъ молодъ и совершенно не серьезенъ.

Теперь, когда я помолилась, мнѣ стало легче, и я опять надѣюсь. Правда, отчего Богу не дать, когда его такъ просятъ? Пойду и поищу немного, не уронилъ ли кто-нибудь кошелекъ или блестящій алмазъ?

Уходитъ.

Нѣкто въ сѣромъ.

Она не знаетъ, что уже исполнено желаніе ея. Она не знаетъ, что уже сегодня утромъ въ богатомъ домѣ два человѣка, согнувшись, жадно разсматривали чертежъ Человѣка и восторгались имъ. Весь день сегодня они тщетно разыскивали Человѣка — богатство искало его, какъ онъ ищетъ богатство. И завтра утромъ, когда сосѣди уйдутъ на работу, къ ихъ дому подъѣдетъ автомобиль, и два господина, низко кланяясь, войдутъ въ бѣдную комнату и принесутъ богатство и славу. Но не знаютъ объ этомъ ни онъ, ни

она. Такъ приходитъ къ человѣку счастье,—и такъ же уходитъ оно.

Входятъ Человѣкъ и его Жена. У Человѣка красивая, гордая голова, съ блестящими глазами, высокимъ лбомъ и черными бровями, расходящимися отъ переносья, какъ два смѣлыхъ крыла. Волнистые, черные волосы, свободно откинутые назадъ; низкій, бѣлый, мягкій воротникъ открываетъ стройную шею и часть груди. Въ движеніяхъ своихъ Человѣкъ легокъ и быстръ, какъ молодое животное; но позы онъ принимаетъ свойственныя только человѣку: дѣятельно-свободныя и гордыя.

Человѣкъ.

Опять ничего. Скоро я лягу въ постель и такъ буду лежать весь день—пускай приходятъ за мной тѣ, кому я нуженъ, а самъ я не пойду. Завтра же лягу.

Жена.

Ты усталъ?

Человѣкъ.

Да, я усталъ и голоденъ. Я могъ бы, какъ герой Гомера, съѣсть цѣлаго быка, а придется довольствоваться кускомъ черстваго хлѣба. Ты знаешь ли, что человѣкъ не можетъ ѣсть постоянно одинъ только хлѣбъ—мнѣ хочется грызть, рвать, кусать!

Жена.

Мнѣ жалко тебя, мой милый.

Человѣкъ.

Да, и мнѣ жалко себя, но отъ этого я не сытѣе. Сегодня я цѣлый часъ стоялъ передъ гастрономиче-

скимъ магазиномъ и, какъ люди разсматриваютъ произведенія искусства, такъ и я разсматривалъ эти пулярдки, паштеты, колбасы. А вывѣски! Они такъ хорошо умѣютъ рисовать ветчину, что ее можно съѣсть вмѣстѣ съ желѣзомъ.

Жена.

Ветчину и я люблю.

Человѣкъ.

Кто же не любитъ ветчины? А омаровъ ты любишь?

Жена.

Да, люблю.

Человѣкъ.

Какого я видѣлъ омара! Онъ былъ нарисованъ, но онъ былъ еще красивѣе, чѣмъ живой. Красный, какъ кардиналъ, величественный, строгій, онъ стоилъ того, чтобы подойти къ нему подъ благословеніе. Я думаю, что я могъ бы съѣсть двухъ такихъ кардиналовъ и папу-карпа въ придачу.

Жена грустно.

Ты не замѣчаешь моихъ цвѣтовъ?

Человѣкъ.

Цвѣты? А ихъ можно ѣсть?

Жена.

Ты не любишь меня.

Человѣкъ цѣлуетъ ее.

Прости меня! Но правда, я такъ голоденъ. Посмотри, у меня трясутся руки, я даже въ собаку не въ силахъ бросить камнемъ.

Жена цѣлуетъ руку.

Бѣдный мой!

Человѣкъ.

А откуда это листья на полу? Отъ нихъ такъ хорошо пахнетъ. Это также ты?

Жена.

Нѣтъ, это навѣрное сосѣди.

Человѣкъ.

Милые люди—наши сосѣди. Странно: такъ много хорошихъ людей на свѣтѣ, а человѣкъ можетъ умереть съ голоду. Отчего это?

Жена.

Ты сталъ такъ мраченъ. Ты хмуришься! Ты видишь что-нибудь?

Человѣкъ.

Да. Передо мною, среди моихъ шутокъ, проскользнулъ ужасный образъ нищеты и всталъ вонъ тамъ въ углу. Ты видишь ее? Жалобно протянутыя руки, заброшенность дѣтеныша въ лѣсу, молящій голосъ и тишина людской пустыни. Помогите! — никто не слышитъ. — Помогите, я умираю! — Никто не слышитъ. Смотри, жена, смотри! Вотъ, дрожа, выплываютъ черныя тѣни, — какъ обрывки чернаго дыма изъ длинной страшной трубы, ведущей въ адъ. Смотри: и я между ними!

Жена.

Мнѣ стало страшно, и я не могу смотрѣть въ тотъ темный уголъ. Ты видѣлъ все это на улицѣ?

Человѣкъ.

Да, я видѣлъ все это на улицѣ, и скоро это будетъ съ нами.

Жена.

Нѣтъ. Богъ не допуститъ этого.

Человѣкъ.

Отчего же онъ для другихъ допускаетъ?

Жена.

Мы лучше другихъ, мы хорошіе люди. Мы ничѣмъ его не огорчаемъ.

Человѣкъ.

Ты думаешь? А я такъ часто ругаюсь.

— Ты не злой.

— Нѣтъ, я злой, я злой! Когда я похожу по улицѣ и посмотрю на все, что намъ не принадлежитъ, у меня отростаютъ клыки, какъ у кабана. Ахъ, какъ много нѣтъ у меня денегъ! Слушай меня, маленькая женка: сегодня я гулялъ вечеромъ въ паркѣ, въ этомъ прекрасномъ паркѣ, гдѣ дороги прямы, какъ стрѣлы, и красивые буки похожи на королей въ коронахъ...

— А я ходила по улицамъ города, и тамъ все магазины, магазины,—такіе красивые магазины...

— Мимо меня проходили люди съ тросточками, одѣтые такъ красиво, и я думалъ: а у меня этого нѣтъ!

— Нарядныя женщины въ изящныхъ ботинкахъ, дѣлающихъ ногу красивой, въ прекрасныхъ шляпахъ, изъ-подъ которыхъ глаза сверкаютъ такъ таинственно, въ шелковыхъ юбкахъ, издающихъ загадочный шелестъ—проходили мимо меня, и я думала: а у меня нѣтъ хорошей шляпки, нѣтъ шелковой юбки!

— Одинъ нахалъ толкнулъ меня плечомъ, но я показалъ ему мои клыки, и онъ позорно спрятался за другихъ!

— Меня толкнула нарядная дама, но я даже не посмотрѣла на нее: такъ было мнѣ неловко!

— Тамъ проносились всадники на горячихъ, гордыхъ коняхъ—а у меня этого нѣтъ!

— У нея въ ушахъ были такіе брилліанты, что ихъ хотѣлось поцѣловать!

— Тамъ безшумно, какъ призраки съ горящими глазами, скользили красные и зеленые автомобили, и люди сидѣли въ нихъ, и смѣялись, и лѣниво смотрѣли по сторонамъ—а у меня этого нѣтъ!

— А у меня нѣтъ ни брилліантовъ, ни изумрудовъ, ни бѣлаго чистаго жемчуга!

— Надъ озеромъ богатый ресторанъ сверкалъ огнями, какъ царствіе небесное, и тамъ ѣли! Министры во фракахъ, какіе-то ангелы съ бѣлыми крыльями разносили бутерброды и пиво, и тамъ ѣли, тамъ пили! Я ѣсть хочу! Маленькая женка, я ѣсть хочу!

— Миленькій, ты бѣгаешь, а отъ этого еще больше хочется ѣсть. Ты лучше сядь, а я сяду къ тебѣ на колѣни, а ты возьми бумагу и нарисуй красивое, красивое зданіе.

— Мое вдохновеніе такъ же голодно, оно рисуетъ только съѣстные пейзажи! Уже давно мои дворцы походятъ на толстые пироги съ жирной начинкой, а церкви на горохтыя колбасы. Но на твоихъ глазахъ я вижу слезы: что съ тобой, моя маленькая женка?

— Мнѣ такъ грустно, что я не могу помочь тебѣ!

— Ты меня пригрѣла. Я, русскій мужчина, умный, талантливый, здоровый, ничего не могу сдѣлать, а моя маленькая жена, моя сказочная фея плачетъ, что не въ силахъ помочь мнѣ! Когда женщина плачетъ, это всегда позоръ для мужчины. Мнѣ совѣстно!

— Ты же не виноватъ, что люди не могутъ тебя оцѣнить!

— У меня даже уши покраснѣли! Словно меня, какъ въ дѣтствѣ, отодрали за уши! Ты вѣдь тоже голодна, а я не вижу этого, какъ настоящій эгоистъ. Это подло!

— Милый мой, я не чувствую голода...

— Это безчестно! Это малодушно! Тотъ нахалъ, который толкнулъ меня, былъ правъ: онъ видѣлъ, что это идетъ настоящая жирная свинья! Кабанъ съ острыми клыками, но глупой головой!

— Если ты будешь бранить себя такъ нехорошо, я опять заплачу.

— Нѣтъ, нѣтъ, не нужно слезъ! Когда я вижу слезы на твоихъ глазахъ, мною овладѣваетъ страхъ. Я боюсь этихъ кристальныхъ, свѣтлыхъ капелекъ: точно кто-то другой, кто-то чужой, кто-то страшный, роняетъ ихъ. Я не позволю тебѣ плакать. У насъ нѣтъ ничего, мы бѣдны,—но я разскажу тебѣ о томъ, что у насъ будетъ. Я очарую тебя свѣтлой сказкой, яркими мечтами обовью я тебя, какъ розами, моя царица!

— Не нужно бояться! Ты сильнѣй, ты геніальнѣй и ты побѣдишь жизнь. Минута унынія пройдетъ, и святое вдохновеніе вновь осѣнитъ твою гордую голову.

Человѣкъ становится въ гордую и смѣлую позу вызова и бросаетъ въ тотъ уголъ, гдѣ стоитъ Неизвѣстный, дубовый листокъ со словами:

— Эй ты, какъ тебя тамъ зовутъ: Рокъ, дьяволъ, или жизнь, я бросаю тебѣ перчатку, зову тебя на бой! Малодушные люди преклоняются предъ твоею загадочною властью: твое каменное лицо внушаетъ имъ ужасъ, въ твоемъ молчаніи они слышатъ зарожденіе бѣдъ и грозное паденіе ихъ. А я смѣлъ и силенъ и зову тебя на бой. Поблестимъ мечами, позвенимъ щитами, обрушимъ на головы удары, отъ которыхъ задрожитъ земля! Эй, выходи на бой!

Жена Человѣка, приникая немного позади къ его лѣвому плечу, говоритъ страстно:

— Смѣлѣе, мой милый, еще смѣлѣе!

— Твоей зловѣщей косности я противопоставляю мою живую и бодрую силу; мрачности твоей—мой яркій и звонкій смѣхъ! Эй, отражай удары! У тебя каменный лобъ, лишенный разума—бросаю въ него раскаленныя ядра моей сверкающей мысли; у тебя каменное сердце, лишенное жалости—сторонись, я лью въ него горячую отраву мятежныхъ криковъ! Черною тучею твоего свирѣпаго гнѣва затмится солнце—мы мечами освѣтимъ тьму! Эй, отражай удары!

— Смѣлѣе, еще смѣлѣе! За тобой стоитъ твой оруженосецъ, мой гордый рыцарь!

— Побѣждая, я буду пѣть пѣсни, на которыя откликнется вся земля; молча падая подъ твоимъ ударомъ, я буду думать лишь о томъ, чтобъ снова встать и ринуться на бой! Въ моей бронѣ есть слабыя мѣста, я знаю это. Но покрытый ранами, истекающій алой кровью, я силы соберу, чтобъ крикнуть: ты еще не побѣдилъ, злой недругъ Человѣка!

— Смѣлѣе, мой рыцарь! Я слезами смою твои раны, поцѣлуями остановлю бѣгъ алой крови!

— Я умираю на полѣ брани, какъ умираютъ храбрые, однимъ лишь возгласомъ я уничтожу Твою слѣпую радость: я побѣдилъ. Я побѣдилъ, злой врагъ мой, ибо до послѣдняго дыханія не призналъ я твоей власти!

— Смѣлѣе, мой рыцарь, смѣлѣе! Я умру съ тобою.

— Эй, эй, выходи на бой! Поблестимъ мечами, позвенимъ щитами, обрушимъ на головы удары, отъ которыхъ задрожитъ земля. Эй, выходи!

Нѣкоторое время Человѣкъ и его Жена остаются въ тѣхъ же позахъ, потомъ оборачиваются другъ къ другу и цѣлуются.

— Такъ раздѣлаемся мы съ жизнью, моя маленькая женка, неправда ли. Пусть она хмурится, какъ слѣпая сова при солнцѣ—мы заставимъ ее улыбнуться!

— И поплясать подъ наши пѣсни. Насъ двое!

— Насъ двое. Ты хорошая жена, ты моя вѣрная подруга, ты храбрая маленькая женщина, и пока мы съ тобой, намъ никто не страшенъ. Эка бѣдность! Сегодня бѣдны, а завтра уже богаты!

И что такое голодъ? Сегодня хочется ѣсть, а завтра мы уже сыты.

— Ты думаешь? Очень возможно. Но я буду очень много ѣсть—такъ много нужно, чтобы я почувствовалъ себя сытымъ. Какъ ты думаешь, достаточно это будетъ: утромъ чай или кофе, или шоколадъ, какъ кто хочетъ, выборъ свободный. Потомъ завтракъ изъ трехъ блюдъ. Потомъ обѣдъ. Потомъ ужинъ. Потомъ...

— Побольше фруктовъ. Я очень люблю фрукты.

— Хорошо. Я буду корзинами покупать ихъ прямо на рынкѣ: тамъ они дешевле и свѣжѣе. Впрочемъ, у насъ будетъ свой садъ.

— Но у насъ нѣтъ земли?

— Я куплю. Мнѣ давно хочется имѣть свой кусочекъ земли. Кстати, я построю тамъ домъ по своему рисунку. Пусть посмотрятъ, негодяи, какой я архитекторъ!

— Мнѣ хотѣлось бы въ Италіи, у самаго моря. Мраморная бѣлая вилла въ рощѣ лимоновъ и кипарисовъ. И чтобы бѣлыя и мраморныя ступени опускались прямо въ голубыя волны.

— Понимаю. Это хорошо. Но я разсчитываю кромѣ того построить замокъ въ Норвегіи, въ горахъ. Внизу фіордъ, а вверху на острой горѣ замокъ. Бумаги у насъ нѣтъ? Ну, смотри на стѣну, я буду показывать. Вотъ это фіордъ, видишь?

— Да, какъ красиво!

— [illegible] глубокая вода, здѣсь—она отражаетъ [illegible] зеленую траву; здѣсь—красный, черный, [illegible] камень. А вотъ здѣсь въ прорывѣ—гдѣ вотъ [illegible]—клочекъ голубого неба и бѣлое, тихое [illegible]..

— [illegible] лодка, смотри, отразилась въ водѣ, какъ будто грудь съ грудью два бѣлые лебедя.

— А вотъ тутъ идетъ кверху гора. Веселая, зеленая снизу, наверху она все мрачнѣе, все строже. Острыя скалы, черныя тѣни, обрывки и лохмотья тутъ.....

— Похоже на разрушенный замокъ.

— И вотъ, на томъ замкѣ, на среднемъ пятнѣ, построю я царственный замокъ.

— Тамъ холодно! Тамъ вѣтеръ!

— У меня будутъ толстыя каменныя стѣны и огромныя окна изъ цѣлаго стекла. Ночью, когда забушуетъ зимняя вьюга и зареветъ внизу фіордъ, мы завѣсимъ окна и затопимъ огромный каминъ. Это будутъ такіе огромные очаги, въ которыхъ будутъ горѣть цѣлыя бревна, цѣлые лѣса смолистыхъ сосенъ!

— Какъ тепло!

— И тихо какъ, замѣть. Вездѣ ковры и много, много книгъ, отъ которыхъ бываетъ такая живая и теплая тишина. А мы вдвоемъ, передъ каминомъ, на шкурѣ бѣлаго медвѣдя. Не взглянуть ли, что дѣлается тамъ?—скажешь ты. Хорошо, отвѣчу я, и мы подойдемъ къ самому большому окну и отдернемъ занавѣсъ. Боже, что тамъ!

— Клубится снѣгъ!

— Точно бѣлые кони несутся, точно миріады испуганныхъ маленькихъ духовъ, блѣдныхъ отъ страха, ищутъ спасенія у ночи. И визгъ, и вой...

Ой, холодно! Я дрожу!

Скорѣе къ огню! Эй, подайте мой дѣловскій кубокъ. Да не тотъ, золотой, изъ котораго викинги пили! Налейте его золотистымъ виномъ, да не такъ—то красенъ пусть поднимется жгучая влага. Вотъ на

вертелѣ жарится серна—несите-ка ее сюда, я ее съѣмъ! Да, скорѣе, а то я съѣмъ васъ самихъ — я голоденъ, какъ чертъ!

— Ну, вотъ и принесли... Дальше.

— Дальше... Понятно, я ее съѣмъ, что же можетъ быть дальше? Но что ты дѣлаешь съ моей головой, маленькая женка?

— Я богиня славы! Изъ листьевъ дубовыхъ, которые набросали сосѣди, я сплела тебѣ вѣнокъ и вѣнчаю тебя. Это слава пришла, прекрасная слава!

Надѣваетъ вѣнокъ.

— Да, слава, шумящая, звонкая слава. Смотри на стѣну! Вотъ это—я иду. А кто рядомъ со мною—видишь?

— Это я.

— Смотри—намъ кланяются. О насъ шепчутся. На насъ показываютъ пальцами. Вотъ какой-то почтенный старикъ заплакалъ и говоритъ: счастливая родина, имѣющая такихъ дѣтей! Вотъ юноша, блѣднѣя, смотритъ: на него съ улыбкой оглянулась слава! Въ это время я уже построилъ Народный домъ, которымъ гордится вся наша земля...

— Ты мой славный! Къ тебѣ такъ идетъ вѣнокъ изъ дуба, изъ лавра пошелъ бы еще больше.

— Смотри, смотри! Вотъ это—идутъ ко мнѣ представители отъ города, гдѣ я родился. Они кланяются. Они кланяются и говорятъ: городъ нашъ гордится честью...

— Ахъ!

— Что ты?

— Я нашла бутылку молока!

— Этого не можетъ быть!

— И хлѣбъ, мягкій, пахучій хлѣбъ. И сигару.

— Этого не можетъ быть! Ты ошиблась: это сырость съ проклятой стѣны, а тебѣ показалось молоко.

— Да нѣтъ же!

— Сигара! Сигары не растутъ на окнахъ. Ихъ за бѣшеныя деньги продаютъ въ магазинахъ. Это, навѣрное, черный обломанный сучекъ!

— Ну, посмотри же! Я догадываюсь: это принесли наши милые сосѣди.

— Сосѣди? Повѣрь мнѣ: это люди, но божественнаго происхожденія. Но если бы это принесли сами черти... Скорѣе сюда, моя маленькая женка!

Жена Человѣка садится къ нему на колѣни, и такъ они ѣдятъ. Она отламываетъ кусочки хлѣба и кладетъ ему въ ротъ, а онъ поитъ ее молокомъ изъ бутылки.

Человѣкъ.

Повидимому, сливки!

Жена.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Человѣкъ.

Повидимому, дорогая сигара: очень пахучая и крѣпкая. Всегда буду курить такія!

Жена.

Ты не видишь?

— Все вижу. И ленточку вижу, и вижу, что ты хочешь, чтобы я поцѣловалъ твою голенькую шейку.

— Этого я не позволю. Вообще ты сталъ что-то развязенъ. Кури, пожалуйста, свою сигару, а моя шейка....

— Что? Да развѣ она не моя? Чертъ возьми, покушеніе на собственность!

Она бѣжитъ. Человѣкъ догоняетъ ее и цѣлуетъ.

— Вотъ. Права возстановлены. А теперь, моя маленькая женка, танцовать. Вообрази, что это—великолѣпный, роскошный, изумительный, сверхъестественный, красивый дворецъ.

— Вообразила.

— Вообрази, что ты—царица бала.

— Готово.

— И къ тебѣ подходятъ маркизы, графы, мэры. Но ты отказываешь имъ и избираешь этого, какъ его —въ трико. Принца!—Что же ты?

— Я не люблю принцевъ.

— Вотъ какъ! Кого же ты любишь?

— Я люблю талантливыхъ художниковъ.

— Готово. Онъ подошелъ. Боже мой, но вѣдь ты кокетничаешь съ пустотой? Женщина!

— Я вообразила.

— Ну, ладно. Вообрази изумительный оркестръ. Вотъ турецкій барабанъ: бумъ-бумъ-бумъ!

Бьетъ кулакомъ по столу, какъ по барабану.

— Милый мой! Это только въ циркѣ собираютъ публику барабаномъ, а не во дворцѣ....

— Ахъ, чертъ возьми! Перестань воображать. Воображай опять! Вотъ заливаются пѣвучія скрипки. Вотъ нѣжно поетъ свирѣль. Вотъ гудитъ, какъ жукъ, толстый контрабасъ....

Человѣкъ въ дубовомъ вѣнкѣ садится и напѣваетъ танецъ, прихлопывая въ тактъ ладонями. Мотивъ тотъ, что повторяется въ слѣдующей картинѣ на балу у Человѣка. Жена танцуетъ, граціозная и стройная.

Человѣкъ.

Ахъ ты, козочка моя!

Жена.

Я царица бала.

Пѣнье и танецъ все веселѣе. Постепенно Человѣкъ встаетъ, потомъ начинаетъ слегка танцовать на мѣстѣ—потомъ схватываетъ Жену и съ сбившимся на сторону дубовымъ вѣнкомъ танцуетъ.

И равнодушно смотритъ Нѣкто въ сѣромъ, держа въ окаменѣлой рукѣ ярко пылающую свѣчу.

Опускается занавѣсъ.

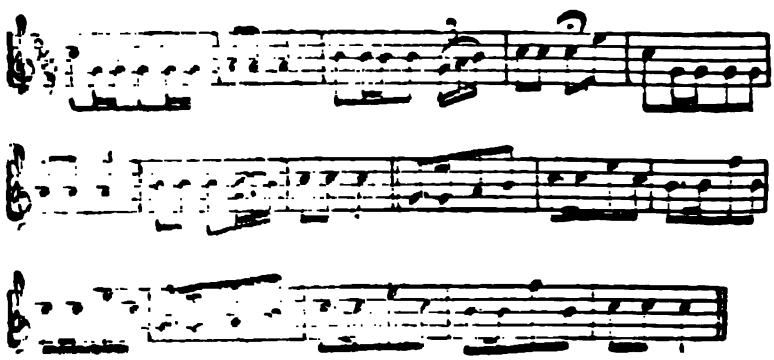
КАРТИНА ТРЕТЬЯ.

:БАЛЪ У:
ЧЕЛОВѢКА.

Балъ происходитъ въ лучшемъ залѣ обширнаго дома Человѣка. Это—очень высокая, большая, правильно четырехугольная комната, съ совершенно гладкими бѣлыми стѣнами, такимъ же потолкомъ и свѣтлымъ поломъ. Есть какая-то неправильность въ соотношеніи частей, въ размѣрахъ ихъ—такъ, двери несоразмѣрно малы сравнительно съ окнами—вслѣдствіе которой залъ производитъ впечатлѣніе странное, нѣсколько раздражающее: чего-то дисгармоничнаго, чего-то не найденнаго, чего-то лишняго, пришедшаго извнѣ. Все полно холодной бѣлизной, и однообразіе ея нарушается только рядомъ оконъ, идущихъ по задней стѣнѣ. Очень высокія, почти до потолка, близко стоящія другъ къ другу, они густо чернѣютъ темнотою ночи: ни одного блика, ни одного свѣтлаго пятнышка не видно въ пустыхъ междурамныхъ провалахъ. Въ обиліи позолоты выражается богатство Человѣка. Золоченые стулья и очень широкія золотыя рамы на картинахъ. Это единственная мебель и единственное украшеніе огромнаго высокаго зала. Освѣщается оно тремя люстрами въ видѣ обручей, съ рѣдкими, широко разставленными электрическими свѣчами. Очень свѣтло къ потолку; внизу свѣта значительно меньше, такъ что стѣны кажутся сѣроватыми.

Балъ у Человѣка въ полномъ разгарѣ. Играетъ оркестръ изъ трехъ человѣкъ, причемъ музыканты очень похожи на свои инструменты. Тотъ, что со

скрипкой похожъ на скрипку: тонкая шея, маленькая головка съ какою-то склоненная на бокъ, нѣсколько изогнутое туловище; на плечѣ, подъ скрипкой, аккуратно разложенъ носовой платокъ. Тотъ, что съ флейтой, похожъ на флейту: очень длинный, очень худой, съ вытянутымъ лицомъ и крѣпко составленными худыми ногами. И тотъ, что съ контрабасомъ, похожъ на контрабасъ: невысокій, съ покатыми плечами, книзу очень толстый, въ широкихъ брюкахъ. Играютъ они съ необыкновенной старательностью, бросающейся въ глаза: отбиваютъ тактъ, поматываютъ головой, раскачиваются. Мотивъ во все время бала одинъ и тотъ же. Это—коротенькая, въ двѣ музыкальныхъ фразы полька, съ подпрыгивающими, веселыми и чрезвычайно пустыми звуками. Всѣ три инструмента играютъ немного не въ тонъ другъ другу, и отъ этого между ними и между отдѣльными звуками нѣкоторая странная разнообразность, какія-то пустыя пространства.



[illegible] и молодые люди. [illegible] Въ противополож- [illegible] музыки они танцуютъ очень

плавенъ, неслышенъ и легокъ; при первой музыкальной фразѣ они кружатся, при второй—расходятся и сходятся граціозно и нѣсколько манерно.

Вдоль стѣны, на золоченыхъ стульяхъ, сидятъ гости, застывшіе въ чопорныхъ позахъ. Туго двигаются, едва ворочая головами, также туго говорятъ, не перешоптываются, не смѣясь, почти не глядя другъ на друга и отрывисто произнося, точно обрубая, только тѣ слова, что вписаны въ текстъ. У всѣхъ руки въ кисти точно переломлены и висятъ тупо и надменно. При крайнемъ, рѣзко выраженномъ разнообразіи лицъ, всѣ они охвачены однимъ выраженіемъ: самодовольства, чванности и тупого почтенія передъ богатствомъ Человѣка.

Танцующія только въ бѣлыхъ платьяхъ, мужчины въ черномъ. Среди гостей черный, бѣлый и ярко-желтый цвѣта.

Въ ближнемъ углу, болѣе темномъ, чѣмъ другіе, неподвижно стоитъ Нѣкто въ сѣромъ, именуемый Онъ. Свѣча въ его рукѣ убыла на двѣ трети и горитъ сильно желтымъ огнемъ, бросая желтые блики на каменное лицо и подбородокъ Его.

Разговоръ гостей.

— Я должна замѣтить, что это очень большая честь—быть въ гостяхъ на балу у Человѣка.

— Вы можете добавить, что этой чести удостоены весьма немногіе. Мой мужъ, мои дѣти и я, мы всѣ весьма гордимся честью, которую оказалъ намъ глубокоуважаемый Человѣкъ.

— Мнѣ даже жаль тѣхъ, кто не попалъ сюда: всю ночь они не будутъ спать отъ зависти, а завтра станутъ клеветать про скуку на балахъ у Человѣка.

— Они никогда не видали этого блеска.

— Добавьте: этого изумительнаго богатства и роскоши.

— Я и говорю: этого чарующаго, беззаботнаго веселья. Если это не весело, то я желала бы видѣть, что бываетъ весело!

Оставьте вы не переспорите людей, когда ихъ мучаетъ зависть. Они намъ скажутъ, что вовсе не на золоченыхъ стульяхъ мы сидѣли. Вовсе не на золоченыхъ.

Что это были самые простые, дешевые стулья, купленные у торговца старыми вещами!

Что вовсе не электричество намъ свѣтило, но простыя сальныя свѣчи.

Скажите: огарки.

Тряпичныя плошки. О, клевета.

Они будутъ напоминать, что въ домѣ Чеховъ золоченые карнизы.

И что у картинъ такія широкія золотыя рамы. [illegible] золота.

[illegible] достаточно, я [illegible]

[illegible] такой музыкой, какъ [illegible] уно-[illegible]

[illegible] достаточно [illegible] Вы не [illegible] въ по-[illegible] другъ

[illegible] потолкъ [illegible] [illegible] мотивъ.

[illegible] вы [illegible] музыкантовъ и [illegible]

[illegible] понимаетъ [illegible]

— Похоже даже, будто они сами вошли въ свои инструменты: такъ стараются они!

— Или, скажите, инструменты вошли въ нихъ.

— Какъ богато!

— Какъ пышно!

— Какъ свѣтло!

— Какъ богато!

Нѣкоторое время въ разныхъ концахъ, отрывисто, звукомъ, похожимъ на лай, повторяютъ только два эти выраженія: Какъ богато! Какъ пышно!

— Кромѣ этого зала, у Человѣка еще пятнадцать великолѣпныхъ комнатъ, и я видѣла ихъ всѣ. Столовая съ такимъ огромнымъ каминомъ, что въ немъ можно жечь цѣлыя деревья. Великолѣпныя гостиная и будуаръ. Обширная спальня, и надъ изголовьемъ у кроватей, вы представье себѣ, балдахины!

— Да, это изумительно. Балдахины!

— Вы слышали: балдахины!

— Позвольте мнѣ продолжать. Для сына, маленькаго мальчика, прекрасная свѣтлая комната изъ золотистаго желтаго дерева. Кажется, что въ ней всегда свѣтитъ солнце...

— Это такой прелестный мальчикъ. У него кудри, какъ солнечные лучи.

— Это правда. Когда посмотришь на него, то невольно думаешь: ахъ, неужели взошло солнце!

— А когда посмотришь въ его глаза, то думаешь: ахъ, вотъ уже кончилась осень и опять показалось голубое небо.

— Человѣкъ такъ безумно любитъ своего сына. Для верховой ѣзды онъ купилъ ему пони, хорошенькаго, снѣжно-бѣлаго пони. Мои дѣти...

— Позвольте мнѣ продолжать, я прошу васъ. Я уже говорила про ванну?

— Нѣтъ! Нѣтъ!

— Такъ вотъ: ванна!

А съ ванна!

— Да. Горячая вода постоянно. Дальше кабинетъ самого Человѣка и тамъ все книги, книги, книги. Говорятъ, что онъ очень умный, и это видно по книгамъ.

— А я видѣла садъ!

— Сада я не видала.

— А я видѣла садъ, и онъ очаровалъ меня, я должна въ этомъ сознаться. Представьте себѣ: изумрудно-зеленые газоны, подстриженные съ изумительной правильностью. По серединѣ проходятъ двѣ дорожки, усыпанныя мелкимъ краснымъ пескомъ. Цвѣты, даже пальмы!

— Даже пальмы!

— Да, даже пальмы. И всѣ деревья подстрижены такъ же: одни, какъ пирамида, другія, какъ зеленыя колонны. Фонтанъ. Зеркальные шары. А въ травѣ, среди ея зелени, стоятъ маленькіе гипсовые гномы и сирены!

Какъ богато!

Какъ роскошно!

Какъ свѣтло!

Иногда время отъ времени повторяютъ: Какъ богато! Какъ роскошно!

[illegible] показать [illegible] полное одо- [illegible] на меня [illegible]

[illegible] человѣкъ [illegible] перышкомъ [illegible]

[illegible] Такъ [illegible]

— Нужно согласиться, что это большая честь— быть въ гостяхъ у Человѣка.

— Вы не находите, что музыка нѣсколько однообразна?

— Нѣтъ, я этого не нахожу и удивляюсь, что вы это находите. Развѣ вы не видите, какіе это музыканты?

— А я скажу, что всю жизнь желала бы слушать эту музыку. Въ ней есть что-то, что волнуетъ меня.

— И меня.

— И меня.

— Такъ хорошо подъ нее отдаваться сладкимъ мечтамъ о блаженствѣ...

— Уноситься мыслью въ подзвѣздныя сферы!

— Какъ хорошо!

— Какъ богато!

— Какъ пышно!

Повторяютъ.

— Я вижу у тѣхъ дверей движеніе. Сейчасъ пройдетъ черезъ залъ Человѣкъ съ своей Женой.

— Музыканты совершенно выбиваются изъ силъ.

— Вотъ они!

— Идутъ! Смотрите, идутъ.

Въ невысокія двери съ правой стороны показывается Человѣкъ, его Жена, его Друзья и Враги, и наискось пересѣкаютъ залъ, направляясь къ дверямъ на лѣвой сторонѣ. Танцующіе, продолжая танцовать, разступаются и даютъ дорогу; музыканты играютъ отчаянно громко и разногласно.

Человѣкъ сильно постарѣлъ: въ длинныхъ волосахъ Его и бородѣ замѣтная проѣдь. Но лицо мужественно и красиво, и идетъ онъ съ спокойнымъ достоинствомъ и нѣкоторой холодностью; смотритъ прямо передъ собою, точно не замѣчая окружаю-

щихъ. Также постарѣла, но еще красива его Жена, опирающаяся на его руку. И она точно не замѣчаетъ окружающаго и нѣсколько страннымъ, почти остановившимся взглядомъ смотритъ прямо передъ собою. Одѣты они богато.

Первыми за Человѣкомъ идутъ его Друзья. Всѣ они очень похожи другъ на друга: благородныя лица, открытые, высокіе лбы, честные глаза. Выступаютъ они гордо, выпячивая грудь, ставя ноги увѣренно и твердо, и по сторонамъ смотрятъ снисходительно, съ легкой насмѣшливостью. У всѣхъ у нихъ въ петлицахъ бѣлыя розы.

Слѣдующими, за небольшимъ интерваломъ, идутъ Враги Человѣка, очень похожіе другъ на друга. У всѣхъ у нихъ коварныя, подлыя лица, низкіе, приплюснутые лбы, длинныя обезьяньи руки. Идутъ они безпокойно, толкаясь, горбясь, прячась другъ за друга, и исподлобья бросаютъ по сторонамъ острые, коварные, завистливые взгляды. Въ петлицахъ—желтыя розы.

Такъ медленно и совершенно молча проходятъ они черезъ залъ. Топотъ шаговъ, музыка, восклицанія гостей создаютъ очень нестройный, рѣзко дисгармоничный шумъ.

Гости.

— Вотъ они! Вотъ они! Какая честь!
— Какъ онъ красивъ!
— Какое мужественное лицо!
— Смотрите! Смотрите!
— Онъ не глядитъ на насъ!
— Онъ насъ не видитъ!
Мы его гости!
— Какая честь! Какая честь!
— А она? Смотрите, смотрите!
— Какъ она прекрасна!
Какъ горда!

— Нѣтъ, нѣтъ, вы на брилліанты посмотрите!
— Брилліанты! Брилліанты!
— Жемчугъ! Жемчугъ!
— Рубины!
— Какъ богато! Какая честь!
— Честь! Честь! Честь!

Повторяютъ.

— А вотъ Друзья Человѣка!
— Смотрите, смотрите, вотъ Друзья Человѣка!
— Благородныя лица!
— Гордая поступь!
— На нихъ сіяніе его славы!
— Какъ они любятъ его!
— Какъ они вѣрны ему!
— Какая честь быть другомъ Человѣка!
— Они смотрятъ на все, какъ на свое!
— Они тутъ дома!
— Какая честь!
— Честь! Честь! Честь!

Повторяютъ.

— А вотъ Враги Человѣка!
— Смотрите, смотрите, Враги Человѣка!
— Они идутъ, какъ побитыя собаки.
— Человѣкъ укротилъ ихъ.
— Онъ надѣлъ на нихъ намордники!
— Они виляютъ хвостомъ.
— Крадутся!
— Толкаются!
— Ха-ха! Ха-ха!

Хохочутъ.

— Какія подлыя лица!
— Жадные взгляды!
— Трусливые!
— Завистливые!

— Они боятся на насъ смотрѣть.
— Чувствуютъ, что мы дома!
— Ихъ нужно еще попугать!
— Человѣкъ будетъ благодаренъ!
— Пугайте ихъ, пугайте!
— Го-го!

Кричатъ на Враговъ Человѣка, смѣшивая крикъ го-го съ хохотомъ. Враги жмутся другъ къ другу, боязливо и остро поглядывая по сторонамъ.

— Уходятъ! Уходятъ!
— Какая честь!
— Уходятъ!
— Го-го! Ха-ха!
— Ушли! Ушли! Ушли!

Шествіе скрывается въ двери съ лѣвой стороны. Наступаетъ нѣкоторое затищье. Музыка играетъ не такъ громко, и танцующіе постепенно заполняютъ залъ.

— Куда они прошли?

— Я думаю, что они прошли въ столовую, тамъ сервированъ ужинъ.

— Вѣроятно, скоро пригласятъ и насъ. Вы не видите никого, кто бы искалъ насъ?

— Да, уже пора. Если сѣсть за ужинъ позже, то плохо будешь спать ночь.

— Должна замѣтить, что и я ужинаю весьма рано.

— Поздній ужинъ тяжело ложится на желудокъ.

— А музыка все играетъ!

— А они все танцуютъ. Я удивляюсь, какъ не устанутъ они.

— Какъ богато!

— Какъ пышно!

— Вы не знаете, на сколькихъ особъ сервированъ ужинъ?

— Я не успѣла сосчитать. Вошелъ метръ д'отель, и мнѣ пришлось удалиться.

— Не можетъ быть, чтобы насъ забыли!

— Но вѣдь Человѣкъ такъ гордъ! Мы же такъ ничтожны.

— Оставьте! Мой мужъ говоритъ, что мы сами оказываемъ ему честь, бывая у него. Мы сами достаточно богаты.

— Если принять въ разсчетъ репутацію его жены...

— Вы не видите никого, кто бы искалъ насъ? Быть можетъ, онъ ищетъ насъ въ другихъ комнатахъ?

— Какъ богато!..

— Если не совсѣмъ осторожно обращаться съ чужими деньгами, то, я думаю, можно стать богатымъ.

— Перестаньте, это говорятъ только его враги...

— Однако, среди нихъ есть люди весьма почтенные. Должна сознаться, что мой мужъ...

— Однако, какъ уже поздно!

— Здѣсь, очевидно, произошло недоразумѣніе. Я не могу допустить, чтобы насъ просто забыли.

— Повидимому, вы плохо знаете жизнь и людей, если вы думаете такъ.

— Удивляюсь. Мы сами достаточно богаты...

— Кажется, кто-то звалъ насъ?

— Это вамъ послышалось! Насъ никто не звалъ. И я не понимаю, должна сознаться откровенно, зачѣмъ мы пришли въ домъ съ такой репутаціей. Знакомство нужно выбирать осторожно.

Въ двери показывается Лакей въ ливреѣ.

— Г. Человѣкъ и его супруга просятъ почтенныхъ господъ пожаловать къ столу.

Гости, поспѣшно подымаясь:

— Какая ливрея!

— Онъ насъ позвалъ!

— Я говорила, что здѣсь недоразумѣніе!

— Человѣкъ такъ милъ! Они, навѣрное, еще сами не успѣли сѣсть за столъ.

— Я говорила, нѣтъ ли кого-нибудь, кто искалъ бы насъ.

— Какая ливрея!

— Говорятъ, что ужинъ великолѣпенъ.

— У Человѣка ничего не можетъ быть плохо.

— Какая музыка! Какая честь быть на балу у Человѣка.

— Пусть намъ позавидуютъ тѣ...

— Какъ богато!

— Какъ пышно!

— Какая честь!

Повторяя, одинъ за другимъ удаляются, и залъ пустѣетъ. Пара за парой оставляютъ танцы танцующіе и молча уходятъ вслѣдъ за гостями. Нѣкоторое время кружится еще одна пара, но и она вскорѣ уходитъ за другими. Но все съ тою же отчаянной старательностью играютъ музыканты.

Лакей тушитъ люстры, оставляя лишь одну свѣчу въ дальней люстрѣ, и уходитъ. Въ наступившемъ мракѣ смутно колеблются фигуры музыкантовъ, раскачивающихся со своими инструментами, и рѣзко выдѣляется Нѣкто въ сѣромъ. Пламя свѣчи колеблется и яркимъ желтоватымъ свѣтомъ озаряетъ Его каменное лицо и подбородокъ.

Не поднимая головы, Онъ поворачивается и медленно, черезъ весь залъ, спокойными и тихими шагами, озаренный пламенемъ свѣчи, идетъ къ тѣмъ дверямъ, куда ушелъ Человѣкъ, и скрывается въ нихъ.

Опускается занавѣсъ.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

НЕСЧАСТІЕ ЧЕЛОВѢКА.

Четырехугольная большая комната мрачнаго вида: гладкія, темныя стѣны, такой же полъ и потолокъ. Въ задней стѣнѣ два высокихъ восьмистекольныхъ не занавѣшенныхъ окна и низенькая дверь между ними; такія же два окна въ правой стѣнѣ. Въ окна смотритъ ночь, и когда распахивается дверь, та же глубокая чернота ночи быстро взглядываетъ въ комнату. Вообще, какъ бы ни было свѣтло въ комнатахъ Человѣка, огромныя темныя окна поглощаютъ свѣтъ.

Въ лѣвой стѣнѣ одна только низенькая дверь во внутрь дома; у этой же стѣны стоитъ широкій диванъ, обитый черной клеенкой. У окна направо, рабочій столъ Человѣка очень простой, бѣдный; на немъ тускло горящая свѣча лежитъ подъ тяжелымъ колпакомъ, жалкое пятно рядомъ лежащаго чертежа и дѣтскія игрушки: маленькій тигръ, деревянная кошка безъ хвоста и красный деревянный шахъ съ буквицами. Въ простѣнкѣ между окнами старый нежилой шкафъ, отвратительно пустой; разорванныя, залитыя пыльныя полосы отъ занавѣсъ — видно, что тутъ уже сорвали недавно бывшія отъ [illegible]

Въ [illegible] другой стоитъ [illegible] свѣча [illegible] больше [illegible] большой [illegible] горящая [illegible] и [illegible] Тутъ же [illegible] на [illegible] и [illegible]

Единственная [illegible] Человѣка [illegible] сидитъ [illegible] [illegible] обращаясь къ воображаемому собесѣднику

[illegible] Теперь [illegible] дорогіе вещи [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible]

жутъ: ступай, куда хочешь, а мы другую возьмемъ. Что-жъ? Я и пойду, мнѣ все равно.

Вотъ удивляются мнѣ люди: страшно, говорятъ, жить у нихъ, страшно по вечерамъ сидѣть, когда только вѣтеръ въ трубѣ свиститъ, да крысы пищатъ и грызутся.

Не знаю, можетъ быть, и страшно, но только я не думаю объ этомъ. Зачѣмъ? Они вдвоемъ у себя сидятъ и смотрятъ другъ на друга, и вѣтеръ слушаютъ, а я у себя въ кухнѣ одна сижу и тоже вѣтеръ слушаю. Развѣ не одинъ вѣтеръ свиститъ въ наши уши? У нихъ такъ бывало, что придутъ молодые люди къ ихнему сыну, и тогда всѣ смѣются, поютъ, ходятъ въ пустыя комнаты крысъ разгонять, а ко мнѣ никто не приходитъ: и сижу я одна, все одна. Не съ кѣмъ разговаривать—такъ я съ собой говорю—мнѣ все равно.

И такъ у нихъ плохо, а третьяго дня и еще несчастье случилось: пошелъ молодой господинъ гулять, и шляпу на бокъ надѣлъ и волосы выправилъ, какъ молодецъ, а злой человѣкъ взялъ изъ-за угла и бросилъ въ него камнемъ и разбилъ ему голову, какъ орѣхъ. Принесли его, положили, и лежитъ онъ теперь, умираетъ — а, можетъ быть, и живъ останется, кто знаетъ. Плакали старая госпожа и господинъ, а потомъ взяли всѣ книги, на возъ положили, да продали. Теперь сидѣлку на эти деньги наняли, лѣкарства взяли, даже винограду купили. Вотъ и пригодились книги. Но только не ѣстъ онъ винограду, даже не смотритъ на него — такъ и стоитъ возлѣ, на блюдечкѣ. Такъ и стоитъ.

Въ наружную дверь входитъ Докторъ, мрачный и очень озабоченный.

Докторъ.

Туда я попалъ? Вы не знаете, старушка? Я докторъ, у меня много посѣщеній, и я часто ошибаюсь.

Туда зовутъ, сюда зовутъ, а дома всѣ одинаковы, и люди въ нихъ всѣ скучные. Туда я попалъ?

Старушка.

Не знаю.

Докторъ.

— Вотъ я посмотрю въ записную книжку. Не у васъ ли ребенокъ, у котораго болитъ горло, и онъ задыхается?

— Нѣтъ.

— Не у васъ ли господинъ, подавившійся костью?

— Нѣтъ.

— Не у васъ ли человѣкъ, который сошелъ съ ума отъ бѣдности и топоромъ зарубилъ жену и двухъ дѣтей? Всего должно быть четверо?

— Нѣтъ.

— Не у васъ ли дѣвушка, у которой перестало биться сердце? Не лгите, старушка, мнѣ кажется, что она у васъ.

— Нѣтъ.

Нѣтъ. Я вамъ вѣрю, вы говорите искренно. Не у васъ ли молодой человѣкъ, которому камнемъ разбили голову, и онъ умираетъ?

У насъ. Ступайте въ ту дверь, налѣво. Да [illegible] вамъ съѣдятъ крысы.

[illegible] звонитъ, все звонитъ днемъ и ночью. [illegible] ночь. Фонари всѣ потушены, а я все [illegible] старушка.

[illegible] въ дверь входитъ внутрь [illegible]

Старушка.

[illegible] не выключить. Теперь [illegible] не выключить. Что въ [illegible] и остаемся мы въ домѣ

одни. Я буду въ кухнѣ сидѣть, молчать и думать. Еще одна комната освободится, и будутъ въ ней бѣгать и драться крысы. Пускай бѣгаютъ и дерутся, мнѣ все равно. Мнѣ все равно.

Спрашиваете вы меня, за что ударилъ злой человѣкъ молодого господина. А я не знаю—откуда же я буду знать, за что люди убиваютъ одинъ другого. Одинъ бросилъ камень изъ-за угла и убѣжалъ, а другой свалился и теперь умираетъ—вотъ это я знаю. Говорятъ, что добрый былъ нашъ молодой господинъ, смѣлый, и за бѣдныхъ заступался—не знаю, мнѣ все равно. Добрый или злой, молодой или старый, живой или мертвый,—мнѣ все равно. Мнѣ все равно.

Пока платятъ, живу, а перестанутъ платить, пойду къ другимъ; и другимъ стряпать буду, а потомъ совсѣмъ перестану,—стара я стала, вижу плохо, и соли отъ сахара не отличаю. Тогда выгонятъ они меня и скажутъ: ступай, куда хочешь, а мы другую возьмемъ. Что жъ? я и пойду, мнѣ все равно. Тутъ ли, тамъ ли, нигдѣ ли—мнѣ все равно... Мнѣ все равно...

— Входятъ Докторъ, Человѣкъ и его Жена. Оба они очень состарились и совершенно сѣды. Высоко стоящіе, длинные волосы Человѣка и большая борода придаютъ его головѣ сходство съ львиной головою; ходитъ онъ слегка сгорбившись, но голову держитъ прямо и смотритъ изъ-подъ сѣдыхъ бровей сурово и рѣшительно. Когда разглядываетъ что-нибудь вблизи, то надѣваетъ большіе очки въ серебряной оправѣ.

Докторъ.

Вашъ сынъ крѣпко уснулъ, и вы не будите его. Сонъ, можетъ быть, къ лучшему. И вы засните; если человѣкъ имѣетъ время спать, онъ долженъ спать, а не ходить и не разговаривать.

Жена.

Благодарю васъ, докторъ, вы такъ насъ успокоили. А завтра вы не пріѣдете къ намъ?

Докторъ.

И завтра пріѣду, и послѣзавтра. А вы, старушка, тоже ступайте спать. Ужъ ночь, и всѣмъ пора спать. Въ эту дверь надо идти? Я часто ошибаюсь.

Уходитъ. Уходитъ и Старушка, и Человѣкъ остается съ Женой вдвоемъ.

Человѣкъ.

Посмотри, жена: вотъ это я началъ чертить, когда нашъ сынъ былъ еще здоровъ. Вотъ на этой линіи я остановился и подумалъ: отдохну, а потомъ буду продолжать опять. Посмотри, какая простая и спокойная линія, а на нее страшно взглянуть: вѣдь она можетъ быть послѣдней, которую провелъ я при жизни сына. Какимъ зловѣщимъ невѣдѣніемъ дышитъ ея простота, ея спокойствіе!

— Не тревожься, мой милый, гони отъ себя душныя мысли. Я вѣрю, что докторъ сказалъ правду, и сынъ нашъ выздоровѣетъ.

— А ты развѣ не тревожишься? Взгляни на себя въ зеркало: ты бѣла, какъ твои волосы, мой старый другъ.

— Конечно, я немного тревожусь, но я убѣждена, что опасности нѣтъ.

— И теперь, какъ и всегда, ты ободряешь меня и обманываешь такъ искренно и свято. Бѣдный мой оруженосецъ, вѣчный хранитель моего иступившагося меча,—плохъ твой старый рыцарь, не держитъ оружія его дряхлая рука. Что я вижу? Это игрушки сына! Кто положилъ ихъ сюда?

— Мой милый, ты забылъ: ты самъ же, давно еще, положилъ ихъ сюда. Ты говорилъ тогда, что тебѣ легче работается, если предъ тобою лежатъ эти дѣтскія невинныя игрушки

— Да, я забылъ. Но теперь мнѣ страшно смотрѣть на нихъ, какъ осужденному на орудіе пытки и казни. Когда ребенокъ умираетъ, проклятіемъ для живыхъ становятся его игрушки. Жена, жена! Мнѣ страшно смотрѣть на нихъ.

— Они куплены еще въ то время, когда мы были бѣдны. Жаль смотрѣть на нихъ: такія это бѣдныя милыя игрушки.

— Я не могу, я долженъ взять ихъ въ руки. Вотъ лошадка съ оторваннымъ хвостомъ.—Гопъ-гопъ, лошадка, куда ты скачешь? — Далеко, папа, далеко, туда, гдѣ поле и зеленый лѣсъ. — Возьми меня, лошадка, съ собой. — Гопъ-гопъ, садись, милый папочка... А вотъ киверъ, картонный, плохенькій киверъ, который со смѣхомъ я самъ примѣрялъ, когда покупалъ его въ лавкѣ. — Ты кто? — Я рыцарь, папа. Я самый сильный, смѣлый рыцарь. — Куда идешь ты, мой маленькій рыцарь? — Дракона убивать я иду, милый папа. Я иду освободить плѣнныхъ, папа. — Иди, иди, мой маленькій рыцарь.

Жена Человѣка плачетъ.

— А вотъ и нашъ неизмѣнный паяцъ со своей глупой и милою рожей. Но какой онъ оборванный — точно изъ сотни битвъ вырвался онъ, но все такъ же смѣется, и такъ же красноносъ. Ну, позвени же, другъ, какъ ты звенѣлъ прежде. Не можешь, нѣтъ? Одинъ только бубенчикъ остался, ты говоришь. Ну, такъ я же брошу тебя на полъ!

Бросаетъ.

Жена.

Что ты дѣлаешь? Вспомни, какъ часто цѣловалъ нашъ мальчикъ его смѣшное лицо.

Человѣкъ.

Да. Я неправъ. Прости меня, мой другъ, и ты, старина, прости.

Поднимаетъ, съ трудомъ нагибаясь.

— Все смѣешься? Нѣтъ, я положу тебя подальше. Не сердись, но сейчасъ я не могу видѣть твоей улыбки, ступай смѣяться въ другое мѣсто.

— Твои слова разрываютъ сердце. Повѣрь мнѣ, выздоровѣетъ нашъ сынъ — развѣ это будетъ справедливо, если молодое умретъ раньше стараго.

— А гдѣ ты видѣла справедливое, жена?

— Мой милый другъ, я прошу тебя, преклони со мной вмѣстѣ колѣни и вдвоемъ мы умолимъ Бога.

— Трудно сгибаются старыя колѣни.

— Преклони ихъ—ты долженъ.

— Не услышитъ меня Тотъ, чей слухъ еще ни разу не утруждалъ я ни славословіемъ, ни просьбами. Проси ты—ты мать!

— Проси ты—ты отецъ! Если не отецъ умолитъ за сына, то кто же? Кому ты оставляешь его? Развѣ одна я могу такъ сказать, какъ мы скажемъ вдвоемъ?

— Пусть будетъ, какъ ты говоришь. Быть можетъ, отзовется вѣчная справедливость, если преклонятъ колѣни старики.

Оба становятся на колѣни, обратившись лицомъ въ тотъ уголъ, гдѣ неподвижно стоитъ Неизвѣстный, и молитвенно складываютъ у груди руки.

Молитва матери.

— Боже, я прошу тебя, оставь жизнь моему сыну. Только одно я понимаю, только одно могу я сказать,

только одно: «Боже, оставь жизнь моему сыну». Нѣтъ у меня другихъ словъ, все темно вокругъ меня, все падаетъ, я ничего не понимаю, и такой ужасъ у меня въ душѣ, Господи, что только одно могу я сказать: Боже, оставь жизнь моему сыну! Оставь жизнь моему сыну! Оставь! Прости, что такъ плохо молюсь я, но я не могу, Господи, ты понимаешь, не могу. Ты посмотри на меня. Ты только посмотри на меня — видишь? Видишь, какъ трясется голова, видишь, какъ трясутся руки—да что руки мои, Господи! Пожалѣй его, вѣдь онъ такой молоденькій, у него родинка на правой ручкѣ. Дай ему пожить, хоть немножко, хоть немножко. Вѣдь онъ такой молоденькій, такой глупый—онъ еще любитъ сладкое, и я купила ему винограду. Пожалѣй! Пожалѣй!

Тихо плачетъ, закрывъ лицо руками. Не глядя на нее, Человѣкъ говоритъ.

Молитва отца.

— Вотъ я молюсь, видишь Ты? Согнулъ старыя колѣни, въ прахѣ разостлался передъ Тобой, землю цѣлую—видишь? Быть можетъ, когда-нибудь я оскорбилъ Тебя, такъ Ты прости меня, прости. Правда, я былъ дерзокъ, заносчивъ, требовалъ, а не просилъ, часто осуждалъ—Ты прости меня. А если хочешь, если такая Твоя воля, накажи,—но только сына моего оставь. Оставь, я прошу Тебя. Не о милосердіи я Тебя прошу, не о жалости, нѣтъ—только о справедливости. Ты—старикъ, и я вѣдь тоже старикъ. Ты скорѣе меня поймешь. Его хотѣли убить злые люди, тѣ, что дѣлами своими оскорбляютъ Тебя и оскверняютъ Твою землю. Злые, безжалостные, негодяи, бросающіе камни изъ-за угла. Изъ-за угла, негодяи! Не дай же совершиться до конца злому дѣлу: останови кровь, верни жизнь—верни жизнь моему благородному сыну. Ты отнялъ у меня все, но развѣ когда-

нибудь я просилъ Тебя, какъ попрошайка: верни богатство! верни друзей! верни талантъ! Нѣтъ, никогда. Даже о талантѣ не просилъ я, а Ты вѣдь знаешь, что такое талантъ — вѣдь это больше жизни! Можетъ быть, такъ нужно, думалъ я, и все терпѣлъ, и все терпѣлъ, гордо терпѣлъ. А теперь прошу, на колѣняхъ, въ прахѣ, цѣлуя землю — верни жизнь моему сыну. Цѣлую землю Твою!

Встаютъ. Равнодушно внемлетъ молитвѣ отца и матери Нѣкто, именуемый Онъ.

Жена.

Я боюсь, что не совсѣмъ смиренна была твоя молитва, мой другъ. Въ ней какъ будто звучала гордость.

Человѣкъ.

Нѣтъ, нѣтъ, жена, я хорошо говорилъ съ Нимъ, такъ, какъ слѣдуетъ говорить мужчинамъ. Развѣ покорныхъ льстецовъ Онъ долженъ любить больше, чѣмъ смѣлыхъ и гордыхъ людей, говорящихъ правду? Нѣтъ, жена, ты этого не понимаешь. Теперь и я вѣрю, и мнѣ стало спокойно, даже весело. Чувствую, что и я что-нибудь еще значу для моего мальчика, и это меня радуетъ. Взгляни, спитъ ли онъ. Онъ долженъ спать крѣпко.

Жена уходитъ. Человѣкъ, дружелюбно посматривая въ уголъ, гдѣ стоитъ Нѣкто, беретъ игрушечнаго паяца, играетъ съ нимъ и тихонько цѣлуетъ его въ длинный, красный носъ. Въ этотъ моментъ входитъ Жена, и Человѣкъ говоритъ смущенно:

— А я все извинялся, обидѣлъ я этого дурака. Ну, какъ нашъ милый мальчикъ?

— Онъ такой блѣдный.

— Это ничего, это пройдетъ; онъ очень много потерялъ крови.

— Мнѣ такъ жалко смотрѣть на его блѣдную, остриженную голову. Вѣдь у него были такія прекрасныя золотистыя кудри.

Человѣкъ.

Ихъ было необходимо срѣзать, чтобы обмыть рану. Ничего, жена, ничего, вырастутъ еще лучше. Но собрала ли ты обрѣзанные волосы? Ихъ необходимо собрать и сохранить. На нихъ его драгоцѣнная кровь, жена!

Жена.

Да, я спрятала ихъ въ тотъ ларецъ, послѣдній, что остался отъ нашего богатства.

Человѣкъ.

Не грусти о богатствѣ. Намъ нужно подождать только, пока не возьмется за работу нашъ сынъ: онъ вернетъ потерянное. Мнѣ стало весело, жена, и я твердо вѣрю въ наше будущее. А помнишь ли ты нашу бѣдную розовую комнатку? Добрые сосѣди набросали дубовыхъ листьевъ, и ты сдѣлала вѣнокъ на мою голову, и говорила, что я геніаленъ.

Жена.

Я и теперь, мой другъ, скажу то же. Люди перестали цѣнить тебя, но не я.

Человѣкъ.

Нѣтъ, моя маленькая женка, ты неправа. Созданія генія переживаютъ эту дрянную старую ветошку, которая называется его тѣломъ. Я же еще живъ, а вещи мои...

Жена.

Нѣтъ, онѣ не умерли, и не умрутъ. Вспомни тотъ домъ на углу, что построилъ ты десять лѣтъ назадъ. Каждый вечеръ, когда заходитъ солнце, ты ходишь смотрѣть на него. Развѣ во всемъ городѣ есть зданіе, болѣе красивое, болѣе глубокое?

Человѣкъ.

Да, я строилъ его какъ разъ въ разсчетѣ, что послѣдніе лучи заходящаго солнца должны падать на него и горѣть въ окнахъ. Весь городъ уже въ темнотѣ, а мой домъ еще прощается съ солнцемъ. Это сдѣлано хорошо, и, можетъ быть—какъ ты думаешь?—переживетъ меня хоть немного?

— Конечно, мой другъ.

— Меня огорчаетъ только одно, женка: зачѣмъ такъ скоро забыли меня люди. Они могли бы помнить нѣсколько дольше, жена, нѣсколько дольше.

— Забываютъ то, что знали, перестаютъ любить то, что любили.

— Нѣсколько дольше могли бы помнить они, нѣсколько дольше.

— Около того дома я видѣла молодого художника. Онъ внимательно изучалъ зданіе и срисовывалъ его въ альбомъ.

— А, какъ же ты не сказала мнѣ этого, мой другъ. Это очень важно, очень важно. Это значитъ, что моя мысль передается другимъ людямъ, и пусть меня забудутъ, она будетъ жить. Это очень важно, жена, чрезвычайно важно.

— Да тебя и не забыли, мой милый. Вспомни молодого человѣка, который такъ почтительно поклонился тебѣ на улицѣ.

— Это вѣрно, женка. Хорошій юноша, очень хорошій. У него такое славное, молодое лицо. Хорошо, что ты мнѣ напомнила объ этомъ поклонѣ, у

меня на сердцѣ посвѣтлѣло. Но что-то меня клонитъ ко сну, усталъ я, вѣроятно. Да и старъ я, моя маленькая, сѣденькая женка, ты не замѣчаешь?

— Ты все такой же красивый.

— И глаза блестятъ?

— И глаза блестятъ.

— И волосы черны, какъ смоль?

— Они у тебя такъ снѣжно бѣлы, что это еще красивѣе!

— И морщинокъ нѣтъ?

— Есть маленькія морщинки, но...

— Кончено, я чувствую себя красавцемъ. Завтра куплю мундиръ и поступлю въ легкую кавалерію. Хорошо?

Жена улыбается.

— Вотъ ты и шутишь, какъ встарь. Ну, прилягъ здѣсь, мой милый, усни немного, а я пойду къ нашему мальчику. Будь спокоенъ, я не оставлю его, а когда онъ проснется, позову тебя. А тебѣ не непріятно цѣловать старую морщинистую руку?

Человѣкъ, цѣлуя:

— Оставь! Ты самая красивая женщина, какую я знаю.

— А морщинки?

— Какія еще морщинки? Я вижу милое, доброе, хорошее, умное лицо, и больше ничего. Не сердись на меня за строгій тонъ и пойди къ мальчику. Побереги его, посиди около него тихой тѣнью нѣжности и ласки,—а если станетъ онъ безпокоиться во снѣ, спой ему пѣсенку, какъ прежде. Да виноградъ поставь поближе, чтобы могъ достать его рукою.

Жена уходитъ. Человѣкъ ложится на диванъ головой къ тому концу, гдѣ неподвижно стоитъ Нѣкто

въ Сѣромъ, такъ что послѣдній почти касается рукою его сѣдыхъ разметанныхъ волосъ. Быстро засыпаетъ.

Нѣкто въ Сѣромъ.

Крѣпко и радостно уснулъ Человѣкъ, обольщенный надеждами. Тихо дыханіе его, какъ у ребенка, спокойно и ровно бьется старое сердце, отдыхая. Онъ не знаетъ, что черезъ нѣсколько мгновеній умретъ его сынъ, и въ сонныхъ таинственныхъ грезахъ передъ нимъ встаетъ невозможное счастье.

Ему кажется, что въ бѣлой лодкѣ ѣдетъ онъ съ сыномъ по красивой и тихой рѣкѣ. Ему кажется, что день прекрасенъ, и онъ видитъ голубое небо, кристально прозрачную воду; онъ слышитъ, какъ, шурша, разступается передъ лодкою камышъ. Ему кажется, что онъ счастливъ, и радость чувствуетъ онъ—всѣ чувства лгутъ Человѣку.

Но вдругъ безпокоится онъ, страшная правда, сквозь густые покровы сна, обожгла его мысль.

— Отчего такъ низко обрѣзаны твои золотистые волосы, мой мальчикъ? Отчего?

— У меня болѣла голова, папа, и отъ этого такъ низко обрѣзаны мои волосы.

И снова, обманутый, онъ чувствуетъ счастье, видитъ голубое небо и слышитъ, какъ шуршатъ камыши, разступаясь.

Онъ не знаетъ, что уже умираетъ его сынъ. Онъ не слышитъ, какъ въ послѣдней безумной надеждѣ, съ дѣтской вѣрой въ силу взрослыхъ, сынъ зоветъ его безъ словъ, крикомъ сердца: папа, папа, я умираю! Удержи меня! Крѣпко и радостно спитъ Человѣкъ, и въ таинственныхъ и обманчивыхъ грезахъ предъ нимъ встаетъ невозможное счастье.

— Проснись, Человѣкъ! Твой сынъ—умеръ.

Человѣкъ испуганно подымаетъ голову и встаетъ:

— Мнѣ страшно: какъ будто кто-то позвалъ меня.

Въ то же мгновеніе за стѣной раздается плачъ многихъ женскихъ голосовъ. Высокими голосами прояжно плачутъ онѣ надъ умершимъ. Входитъ Жена, страшно блѣдная.

Человѣкъ.

Нашъ мальчикъ умеръ?

Жена.

Да. Умеръ.

— Онъ звалъ меня?

— Нѣтъ. Онъ не просыпался. Онъ никого не звалъ. Онъ умеръ, мой сынъ, мой ненаглядный мальчикъ!

Падаетъ на колѣни передъ Человѣкомъ и рыдаетъ, охвативъ руками его ноги. Человѣкъ кладетъ руку ей на голову и съ рыданіемъ въ голосѣ, но грозно, говоритъ, обращаясь въ уголъ, гдѣ равнодушно стоитъ Нѣкто.

— Ты женщину обидѣлъ, негодяй! Ты мальчика убилъ!

Жена рыдаетъ. Человѣкъ тихонько, дрожащею рукою гладитъ ея волосы.

— Не плачь, милая, не плачь. Онъ и надъ слезами нашими посмѣется, какъ посмѣялся надъ нашими молитвами — А ты, я не знаю, кто ты, Богъ, дьяволъ, рокъ или жизнь—я проклинаю тебя!

Дальнѣйшее говоритъ громкимъ, сильнымъ голосомъ, одною рукою какъ бы защищая жену, другую грозно протягивая къ Неизвѣстному.

Проклятіе Человѣка.

Я проклинаю все, данное тобою. Проклинаю день, въ который я родился, проклинаю день, въ ко-

торый я умру. Проклинаю всю жизнь мою, радости и горе. Проклинаю себя! Проклинаю мои глаза, мой слухъ, мой языкъ. Проклинаю мое сердце, мою голову — и все бросаю назадъ, въ твое жестокое лицо, безумная судьба. Будь проклята, будь проклята во вѣки! И проклятіемъ я побѣждаю тебя. Что можешь еще сдѣлать ты со мною? Вали меня наземь, вали — я буду смѣяться и кричать: будь проклята! Клещами смерти зажми мнѣ ротъ—послѣдней мыслью я крикну въ твои ослиныя уши: будь проклята, будь проклята! Бери мой трупъ, грызи его, какъ собака, возись съ нимъ въ темнотѣ—меня въ немъ нѣтъ. Я исчезъ, но повторяю: будь проклята, будь проклята! Черезъ голову женщины, которую ты обидѣлъ, черезъ тѣло мальчика, котораго ты убилъ — шлю тебѣ проклятіе Человѣка!

Умолкаетъ съ грозно поднятой рукою. Равнодушно внемлетъ проклятію Нѣкто въ Сѣромъ и колеблется пламя свѣчи, точно раздуваемое вѣтромъ. Такъ нѣкоторое время въ сосредоточенномъ молчаніи стоятъ одинъ противъ другого: Человѣкъ и Нѣкто въ Сѣромъ. Плачъ за стѣною становится громче и протяжнѣе, переходя въ мелодію страданія.

Опускается занавѣсъ.

КАРТИНА ПЯТАЯ.

СМЕРТЬ ЧЕЛОВѢКА.

Неопредѣленный, колеблющійся, мигающій, сумрачный свѣтъ, мѣшающій что-либо разсмотрѣть съ перваго взгяда. Когда глазъ привыкаетъ, онъ видитъ такую картину.

Широкая длинная комната съ очень низкимъ потолкомъ, безъ одного окна въ стѣнахъ. Входъ откуда-то сверху, по ступенямъ. Стѣны гладки и сумрачно грязны—похоже на грубую, запятнанную кожу какого-то большого звѣря. Всю заднюю стѣну, до ступенекъ, занимаетъ одинъ огромный, плоскій, стеклянный буфетъ, сплошь установленный правильными рядами бутылокъ, съ разноцвѣтными жидкостями. За невысокимъ прилавкомъ совершенно неподвижно сидитъ кабатчикъ, сложивъ руки на животѣ. Бѣлое съ румянцемъ лицо, лысина, большая рыжая борода — выраженіе полнаго спокойствія и равнодушія. Такимъ онъ остается все время, ни разу не перемѣщаясь и не мѣняя положенія. За небольшими столиками на деревянныхъ табуретахъ сидятъ Пьяницы. Количество людей увеличивается ихъ тѣнями, блуждающими по стѣнамъ и по потолку.

Безконечное разнообразіе отвратительнаго и ужаснаго. Лица, похожія на маски съ непомѣрно увеличенными или уменьшенными частями: носатые и совсѣмъ безносые, глаза, дико вытаращенные, почти вылѣзшіе изъ орбитъ, и сузившіеся до едва видныхъ щелей и точекъ; кадыки и крохотные подбородки. Волосы у всѣхъ спутанные, лохматые, грязные, иногда закрывающіе половину лица. На всѣхъ, однако, лицахъ при ихъ разнообразіи лежитъ печать страшнаго

сходства: это зеленоватая, могильная окраска, и выраженіе, то веселаго, то мрачнаго и безумнаго ужаса.

Одѣты Пьяницы въ одноцвѣтныя лохмотья, обнажающія, то зеленую костлявую руку, то острое колѣно, то впалую, страшную грудь. Есть почти совсѣмъ голые. Женщины мало отличаются отъ мужчинъ и еще безобразнѣе, чѣмъ они. У всѣхъ трясутся руки и головы, и походка неровная, точно они ходятъ или по очень скользкой, или бугроватой, или движущейся поверхности. И голоса одинаковые: хриплые, сипящіе; и такъ же нетвердо, какъ ходятъ, выговариваютъ Пьяницы слова непослушными, точно замерзшими губами.

По серединѣ сборища за отдѣльнымъ столикомъ сидитъ Человѣкъ, положивъ сѣдую, всклокоченную голову на руки. Такимъ остается онъ все время, за исключеніемъ того момента, когда говоритъ. Одѣтъ онъ очень плохо.

Въ углу неподвижно стоитъ Нѣкто въ Сѣромъ съ догорающей свѣчей. Узкое, синее пламя колеблется, то ложась на край, то острымъ язычкомъ устремляясь вверхъ. И могильно сини блики на каменномъ лицѣ и подбородкѣ Его.

Разговоръ Пьяницъ.

— Боже мой! Боже мой!

— Послушайте, — какъ страшно колеблется все: ни на чемъ нельзя остановить взора.

— Все дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ: люди, стулья и потолокъ.

— Все плыветъ и качается, какъ на волнахъ.

— Вы не слышите шума? Я слышу какой-то шумъ. Точно грохочутъ желѣзныя колеса или камни падаютъ съ горы. Большіе камни падаютъ, какъ дождь.

— Это шумитъ въ ушахъ.

— Это шумитъ кровь. Я чувствую мою кровь. Густая, черная, пахнущая ромомъ, она тяжело катится по жиламъ. И когда подходитъ къ сердцу, то все падаетъ, и становится страшно.

— Я вижу какъ будто блистаніе молніи!

— Я вижу огромные, красные костры, и на нихъ горятъ люди. Противно пахнетъ горѣлымъ мясомъ. Черныя тѣни кружатся вокругъ костровъ. Они пьяны, эти тѣни. Эй, позовите меня, я буду съ вами танцовать.

— Боже мой! Боже мой!

— И я веселый. Кто хочетъ со мною смѣяться? Никто не хочетъ, такъ я буду одинъ.

Смѣется одинъ.

— Прелестная женщина цѣлуетъ меня въ губы. Отъ нея пахнетъ мускусомъ, и зубы у нея, какъ у крокодила. Она хочетъ укусить меня. Прочь шлюха!

— Я не шлюха. Я старая беременная змѣя. Уже цѣлый часъ смотрю я, какъ изъ моей утробы выходятъ маленькія змѣйки и ползаютъ. Эй, не раздави моего змѣеныша!

— Куда ты идешь?

— Кто ходитъ тамъ? Сядьте. Весь домъ дрожитъ, когда вы ходите.

— Я не могу. Мнѣ страшно сидѣть.

— И мнѣ страшно. Когда сидишь, то слышно, какъ ужасъ бѣгаетъ по тѣлу.

— И мнѣ. Пустите меня!

Трое или четверо Пьяницъ колеблющимися шагами безцѣльно бродятъ, путаясь среди столовъ.

— Посмотрите, что оно дѣлаетъ. Уже два часа оно старается прыгнуть на мои колѣна. Только на вершокъ не достаетъ. Я его отгоню, а оно опять. Это какая-то странная игра.

— У меня подъ черепомъ ползаютъ черные тараканы. И шуршатъ.

— У меня распадается мозгъ. Я чувствую, какъ одна сѣрая частица отдѣляется отъ другой. Мой мозгъ похожъ на скверный сыръ. Онъ пахнетъ.

— Тутъ пахнетъ какой-то падалью.

— Боже мой! Боже мой!

— Сегодня ночью я подползу къ ней на колѣняхъ и зарѣжу ее. Потечетъ кровь. Она сейчасъ течетъ уже: такая красная.

— За мной все время ходятъ трое. Они зовутъ меня въ тѐмный уголъ на пустырь и тамъ хотятъ зарѣзать. Они сейчасъ около дверей.

— Кто это ходитъ по стѣнамъ и по потолку?

— Боже мой! Они пришли сюда. За мною.

— Кто?

— Они!

— У меня нѣмѣетъ языкъ. Что же мнѣ дѣлать? У меня нѣмѣетъ языкъ. Я буду плакать.

Плачетъ.

— Все изъ меня лѣзетъ наружу. Я сейчасъ вся вывернусь наизнанку и буду красной.

— Послушайте, послушайте, эй! Кто-нибудь. На меня идетъ чудовище. Оно поднимаетъ руку. Помогите, ай!

— Что это! Помогите! Паукъ!

— Помогите!

Нѣкоторое время кричатъ хриплыми голосами: помогите.

— Мы всѣ пьяницы. Позовемъ всѣхъ сверху сюда. Наверху такъ мерзко.

— Не надо. Когда я выхожу отсюда на улицу, она мечется, какъ дикій звѣрь, и скоро валитъ меня съ ногъ.

— Мы всѣ пришли сюда. Мы пьемъ спиртъ, и онъ даетъ намъ веселье.

— Онъ даетъ ужасъ. Я весь день трясусь отъ ужаса.

— Лучше ужасъ, чѣмъ жизнь. Кто хочетъ вернуться туда?

— Я—нѣтъ.

— Не хочу. Я лучше издохну здѣсь. Не хочу я жить!

— Никто!

— Боже мой! Боже мой!

— Зачѣмъ ходитъ сюда Человѣкъ? Онъ пьетъ мало, а сидитъ много. Не надо его.

— Пусть идетъ въ свой домъ. У него свой домъ.

— Пятнадцать комнатъ.

— Не трогайте его, ему больше некуда ходить.

— У него пятнадцать комнатъ.

— Онѣ пустыя. Въ нихъ только бѣгаютъ и дерутся крысы.

— А жена?

— У него никого нѣтъ. Должно быть, умерла жена.

Во время этого разговора и послѣдующаго полихоньку входятъ Старухи въ странныхъ покрывалахъ, незамѣтно занѣняя собой тихо уходящихъ пьяницъ. Вмѣшиваются въ разговоръ, но такъ, что никто этого не замѣчаетъ.

Разговоръ Пьяницъ и Старухъ.

— Онъ самъ скоро умретъ. Онъ едва ходитъ отъ слабости.

— У него пятнадцать комнатъ.

— Послушай, какъ бьется его сердце: неровно и тихо. Оно скоро остановится.

— Эй, Человѣкъ! Позови насъ къ себѣ: у тебя пятнадцать комнатъ.

— Оно скоро остановится. Старое, большое, слабое сердце человѣка!

— Онъ спитъ пьяный дурнымъ. Спать такъ страшно, а онъ спитъ. Онъ можетъ во снѣ умереть. Эй, разбудите его!

— А помните какъ билось оно молодо и сильно.

Тихій смѣхъ.

— Кто смѣется? Тутъ есть лишніе.

— Это вамъ кажется. Тутъ только мы одни, Пьяницы.

— Я пойду на улицу и устрою скандалъ. Меня ограбили. Я совсѣмъ голый. У меня зеленая кожа.

— Здравствуйте.

— Опять шумятъ колеса. Боже мой, они меня задавятъ. Помогите!

Никто не отзывается.

— Здравствуйте.

— А вы помните, какъ онъ родился? Вы, кажется, тамъ были?

— Должно быть, я умираю. Боже мой, Боже мой! Кто же отнесетъ меня въ могилу? Кто зароетъ меня?

— Такъ я и буду валяться, какъ собака, на улицѣ. Будутъ люди ходить черезъ меня, экипажи ѣздить — раздавятъ они меня. Боже мой! Боже мой!

Плачетъ.

— Позвольте поздравить васъ, дорогой родственникъ, съ новорожденнымъ.

— Твердо увѣренъ, что тутъ есть ошибка. Когда изъ прямой линіи выходитъ замкнутый кругъ, то это — абсурдъ. Сейчасъ я докажу это!

— Вы правы.

— Боже мой! Боже мой!

— Только невѣжды въ математикѣ могутъ допустить это. Но я не допускаю. Слышите, я не допускаю этого!

— А вы помните розовенькое платьице и голенькую шейку?

— И цвѣты. Ландыши, съ которыхъ не высохла роса, фіалки и зеленую травку.

— Не трогайте, дѣвушки, не трогайте цвѣтовъ.

Тихо смѣются.

— Боже мой! Боже мой!

Пьяницы всѣ ушли, и ихъ мѣста заняты Старухами въ странныхъ покрывалахъ. Свѣтъ становится ровнымъ и очень слабымъ. Рѣзко выдѣляется фигура Неизвѣстнаго и сѣдая голова Человѣка, на которую сверху падаетъ слабый свѣтъ.

Разговоръ Старухъ.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Какая славная ночь!

— Вотъ мы и снова собрались. Какъ ваше здоровье?

— Покашливаю.

Тихо смѣются.

— Теперь недолго. Онъ сейчасъ умретъ.

— Взгляните на свѣчу. Пламя синее, узкое и стелется по краямъ. Уже нѣтъ воска и только фитиль догораетъ.

— Не хочетъ тухнуть.

— А когда вы видѣли, чтобы пламя хотѣло тухнуть?

— Не спорьте! Не спорьте! Хочетъ оно тухнуть или не хочетъ, а время идетъ.

— А вы помните его автомобиль? Онъ однажды чуть не задавилъ меня!

— А его пятнадцать комнатъ?

— Я сейчасъ только была тамъ. Меня чуть не съѣли крысы, и я простудилась отъ сквозняковъ. Кто-то укралъ рамы, и вѣтеръ ходитъ по всему дому.

— А вы полежали на кровати, гдѣ умерла его жена? Не правда ли, какая мягкая!

— Да, я обошла всѣ комнаты и помечтала немного. У нихъ такая милая дѣтская. Жаль только, что и тамъ выбиты рамы, и вѣтеръ шуршитъ какимъ-то со-

ромъ. И кроватка дѣтская такая милая. Въ ней крысы теперь завели свое гнѣздо и выводятъ дѣтей.

— Такихъ миленькихъ, голенькихъ крысятокъ.

Тихо смѣются.

— А въ кабинетѣ на столѣ лежатъ игрушки: безхвостая лошадка, киверъ, красноносый паяцъ. Я немного поиграла съ ними. Надѣвала киверъ — онъ такъ ко мнѣ идетъ. Только пыли на нихъ ужасно много, вся перепачкалась.

— Но неужели вы не были въ залѣ, гдѣ давался балъ? Тамъ такъ весело.

— Да, я была тамъ, но представьте, что я увидѣла! Темно, стекла выбиты, вѣтеръ шуршитъ обоями...

— Это похоже на музыку.

— А у стѣнъ, въ темнотѣ, на корточкахъ сидятъ люди, но въ какомъ видѣ, если бъ вы знали!

— Мы знаемъ!

— И, лязгая зубами, лаютъ отрывисто: какъ богато, какъ пышно!

— Вы шутите, конечно?

— Конечно, я шучу. Вы знаете мой веселый характеръ.

— Какъ богато! Какъ пышно!

— Какъ свѣтло!

Тихо смѣются.

— Вспомнить ужасно.

— Какъ богато. Какъ пышно!

— Развѣ помнишь какъ играла музыка въ твоемъ домѣ?

— Они собрались умереть.

— Кружились танцующіе и музыка играла такъ сладко, такъ красиво. Они играли такъ.

— Замолчала, погрузилась около. Человѣка и такъ [illegible] музыки, что играли на его балу.

— Устроимъ балъ! Я такъ давно не танцовала.

— Вообрази, что это дворецъ, сверхъестественно красивый дворецъ.

— Зовите музыкантовъ. Нельзя же хорошій балъ давать безъ музыки.

— Музыкантовъ!

— Ты помнишь?

Напѣваютъ. Въ то же мгновеніе по ступенямъ спускаются тѣ три музыканта, что играли на балу. Тотъ, что со скрипкой, аккуратно подстилаетъ на плечо носовой платокъ, и всѣ три начинаютъ играть съ чрезвычайной старательностью. Но звуки тихи и нѣжны, какъ во снѣ.

— Вотъ и балъ!

— Какъ богато, какъ пышно!

— Какъ свѣтло!

— Ты помнишь?

Тихо напѣвая подъ музыку, начинаютъ кружиться вокругъ Человѣка, манерничая и въ дикой уродливости повторяя движенія дѣвушекъ въ бѣлыхъ платьяхъ, танцовавшихъ на балу. При первой музыкальной фразѣ они кружатся, при второй — сходятся и расходятся граціозно и тихо. И тихо шепчутъ:

— Ты помнишь?

— Ты сейчасъ умрешь, а ты помнишь?

— Ты помнишь?

— Ты помнишь?

— Ты сейчасъ умрешь, а ты помнишь?

Танецъ становится быстрѣе, движенія рѣзче. Въ голосахъ поющихъ Старухъ проскальзываютъ странныя, визгливыя нотки: такой же странный смѣхъ, пока еще сдержанный, тихимъ шуршаніемъ пробѣгаетъ по танцующимъ. Проносясь мимо Человѣка, бросаютъ ему въ ухо отрывистый шопотъ.

— Ты помнишь?

— Ты помнишь?

— Какъ нѣжно, какъ хорошо!

— Какъ отдыхаетъ душа!

— Ты помнишь?

— Ты сейчасъ умрешь, сейчасъ умрешь, сейчасъ умрешь.....

— Ты помнишь?

Кружатся быстрѣе, движенія рѣзче. Внезапно все смолкаетъ и останавливается. Застываютъ съ инструментами въ рукахъ музыканты; въ тѣхъ же позахъ, въ какихъ застало ихъ безмолвіе, замираютъ танцующіе.

Человѣкъ встаетъ, выпрямляется, закидываетъ сѣдую, красивую, грозно прекрасную голову и кричитъ неожиданно громко, громко, призывнымъ голосомъ, полнымъ тоски и гнѣва.

Послѣ каждой короткой фразы короткая, но глубокая пауза.

— Гдѣ мой оруженосецъ?—Гдѣ мой мечъ?—Гдѣ [illegible] оборужень!—Скорѣе ко мнѣ!—Скорѣе! Будь проклят...

Падаетъ на стулъ и умираетъ, запрокинувъ голову.

Въ то же мгновеніе ярко вспыхнувъ, гаснетъ [illegible] сумракъ поглощаетъ предметы. Точно [illegible] сумракъ и постепенно заволо[illegible] умершаго Чело[illegible] говоръ Старухъ, шу[illegible]

[illegible] Старухъ

[illegible] смотрѣ

[illegible] тотъ же холодный, [illegible] [illegible] въ глубокой [illegible]

— Тише! Чаровѣнъ умеръ.

Молчаніе, тишина. Мало-по-малу густѣетъ сумракъ, но еще видны мышиныя фигуры растерявшихся Старухъ. Вотъ тихо и безмолвно онѣ начинаютъ кружиться вокругъ мертвеца — потомъ начинаютъ тихо напѣвать — начинаютъ играть музыканты. Сумракъ густѣетъ, и все громче становятся музыка и пѣніе, все безудержнѣе дикій танецъ. Уже не танцуютъ, а бѣшено носятся онѣ вокругъ мертвеца, топая ногами, визжа, смѣясь непрерывно дикимъ смѣхомъ. Наступаетъ полная тьма. Еще свѣтитъ лицо мертвеца, но вотъ гаснетъ и оно. Черный, непроглядный мракъ.

И во мракѣ слышно движеніе бѣшено танцующихъ, взвизгиванія, смѣхъ, нестройные, отчаянно громкіе звуки оркестра. Достигнувъ наивысшаго напряженія, всѣ эти звуки и шумъ быстро удаляются куда-то, замираютъ... Тишина.

Опускается занавѣсъ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИКЪ» СПБ., НЕВСКІЙ, 102.
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

БАЙРОНЪ.

КАИНЪ.

Переводъ Ив. Бунина.

Обложка, заставки и концовки В. Чемберса.

Ц. въ переплетѣ 1 р. 50 к.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

„СѢВЕРНЫЕ СБОРНИКИ“

ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ:

Густава Вида.	Карина Михаэлисъ.
Гольгера Дрохмана.	Петера Нансенъ.
Кнута Гамсуна.	Кнута Хіорте.
Свенъ Ланге.	Сорена Киргергаарда.
Сельмы Лагерлефъ.	П. Галлстрема.
Гонаса Ли.	И. П. Якобсена.
Амалии Скрамъ.	А. Стриндберга.
[illegible]	Г. Брандеса.

ДѢТСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

[illegible] выдутъ въ свѣтъ:

[illegible] «Теремъ-Теремокъ». Сборникъ народныхъ [illegible] и прибаутокъ для дѣтей младшаго [illegible] въ краскахъ.

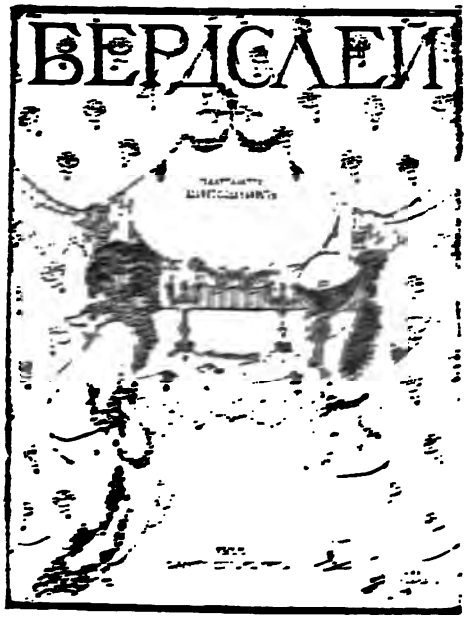
[illegible] Стихи для дѣтей. Съ рисунками [illegible]

[illegible] сказки. Съ рисунками И. Билибина.

[illegible] Рисунки М. Добужинскаго.

[illegible] Мамина. Книга сказокъ для ма[illegible] Съ рисунками Ю. Дица.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИК» СПБ., НЕВСКИЙ, 102
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

РЕНЕССАНС И ДЕКАДАНС.

[illegible]

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИКЪ» СПБ., НЕВСКІЙ, 102.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ
НАРОДНЫЯ КАРТИНЫ ВЪ КРАСКАХЪ
Цѣна 2, 3, 5 и 10 коп.

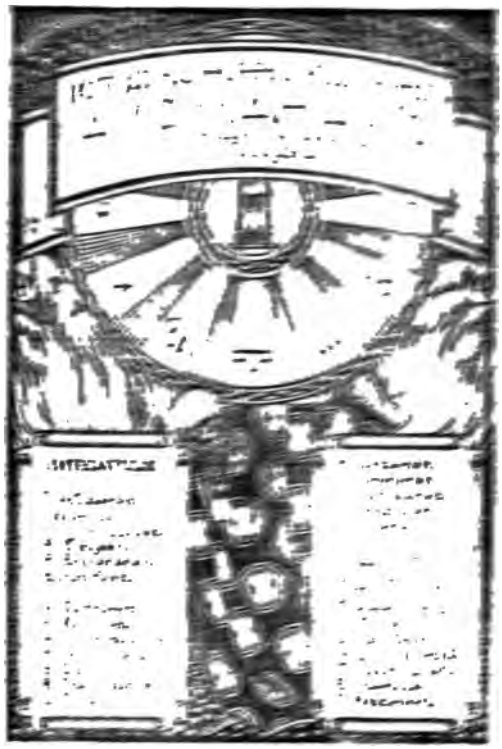
[illegible]

[illegible] ТЕМЫ ВЪ ИСПОЛНЕНІИ

[illegible]

[illegible] Прощаніе
[illegible] Гость выпитъ
[illegible] непонятные
[illegible] Рыцарь
[illegible] [illegible] жизнь
[illegible] Неумѣлое управленіе
[illegible] Подражаніе
[illegible] Власть власть
[illegible] Самостоятельность
[illegible] Не [illegible]
[illegible] Платонинъ
[illegible] Интернаціональное [illegible] [illegible] противъ [illegible] [illegible]
[illegible] Свѣдомость
[illegible] Народный [illegible]

[illegible] — [illegible] К. [illegible].



ПЕЧАТАЮТСЯ И ВЪ МАРТѢ ВЫЙДУТЪ ВЪ СВѢТЪ:

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА

АЛЬМАНАХЪ

ПОДЪ ОБЩЕЙ РЕДАКЦІЕЙ В. Е. ЗЕЛЕНЕВА.

участіи: Г. Абрамовича, Г. Чулкова, А. Ремизова, В. Ропшина, В. Вересаева, В. Голубева, А. Кондратьева, Е. Кузьмина, А. Лозинскаго, Н. Минаева, Е. Соловьева, В. Чернетскаго, С. Ауслендера, П. Муратова, Ю. Анисимова, А. Смирнова, В. Чернова, Е. Чирикова, Н. Шестова и др.

жниковъ: Б. Анисфельда, А. Бенуа, З. Гржебина, М. Добужинскаго, Е. Кустодіева, Е. Лансере, С. Чехонина.

ПЕЧАТАЮТСЯ И ВЪ МАРТѢ ВЫЙДУТЪ ВЪ СВѢТЪ:

вусъ. По тюрьмамъ во время революціи.

ьдманъ. Восемь дней на Потемкинѣ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИКЪ» СПБ., НЕВСКІЙ, 102.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.

К. Марксъ. Къ критикѣ политической экономіи. Съ предисл. К. Каутскаго. Переводъ со 2-го нѣмецкаго изд. и предисл. къ русск. изд. П. П. Румянцева. Цѣна 90 к.

БИБЛІОТЕКА РЕВОЛЮЦІОННАГО СИНДИКАЛИЗМА.

Гюберъ Лагарделль. Революціонный синдикализмъ. Авторизированный переводъ съ рукописи. Ц. 40 к.

А. Лабріола. Реформизмъ и синдикализмъ (Реформизмъ и соціальная революція). Съ пред. автора къ русск. изд. Перев. съ итальянск. подъ ред. и съ послѣсловіемъ А. Луначарскаго. Цѣна 1 р. 25 к.

Въ 190[illegible] г. выйдутъ сочиненія Э. Леоне и Г. Сореля.

ПОЛИТИЧЕСКІЕ ПАМФЛЕТЫ.

[illegible] Три кадета. Цѣна 40 коп. (конфиск.).

[illegible] Побѣдоносцевъ. Цѣна 50 к.

[illegible]

[illegible] Кронштадтскій и оффиціальная церковь.

[illegible]

[illegible] Цѣна 55 коп.

[illegible] Цѣна 40 к.

[illegible] Цѣна 30 коп.

ЦѢНА 1 РУБЛЬ.

ВЪ ПЕРЕПЛЕТѢ (ОБЛОЖКА Л. БАКСТА) 1 Р. 25 К.

Stanford University Libraries
3 6105 015 013 506
PG
3227
L48
v.1
1907

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.